



Дизайн автора

ПРОБУЖДЕНИЕ УЛИТКИ

Повесть

Тотчас он пошел за нею, как вол идет,
на убой и как олень на выстрел. ,

Книга Притчей

К тому же улитки не ведут,
бессмысленных войн. ,

Знаки агни-йоги

Да, я приучил себя довольствоваться малым. Лучше пригоршня в покое, нежели горсти в трудах и заботах. Из максималиста я стал минималистом. Труднее всего было обуздать честолюбие и признать, что ничего не получилось. Я и сейчас иногда взрываюсь – мне кажется, что еще есть время и силы. Мне даже кажется, что сил у меня больше, чем в молодости. Я не про славу. Я про чувство внутренней гармонии – с внешней уже не вышло и не выйдет. Но внутри можно было бы переорганизовать весь этот трагический фарс и хаос в свет и покой. Последние годы я только этим и занимался. И заклинал себя: я свободен и я спокоен. Я никому и ничему не завидую. Я не боюсь смерти и не жажду бессмертия. То, что я делаю, я делаю хорошо. Я стараюсь не приносить людям зла и не считаю себя лучше других. Совсем как у Швейцера: «Я есть жизнь, которая хочет жить. Я есть жизнь среди жизней, которая хочет жить». Мое сердце открыто для добра и любви... Нет, про сердце я не буду. Сердце мое закрыто. Я боюсь его открывать. Если оно открывается, то само. Мы с ним разошлись, и, когда ему больно, я злорадствую: «Вот видишь, я оказался прав. Так тебе и надо». Друг к другу мы относимся с недоверием.

Иногда я колочусь в стену головой – Господи, какие прекрасные молодые женщины были рядом со мной и сколько прекрасного приносили они в мою жизнь, сколько подарили мне минут, и часов, и дней, и месяцев, и даже лет, как счастлив я бывал с ними, и как лучились их глаза, и как они улыбались – да! мне! – и что теперь? Где они? С кем? И кем стали? Наверняка у них дети и, может быть, внуки. Вспоминают ли они меня? Это один из моих вечных вопросов самому себе. Вспоминает ли кто-нибудь меня, принес ли я кому-нибудь хоть крупицу счастья?

I

Я увидел ее среди уличных художников в портике бывших Серебряных рядов, что на Невском возле Думы.

– Ты только из-за моих ног со мной познакомился! – смеялась она.

И вправду – не из-за работ же ее, прикреплённых рядом с этюдником. Работы мне тогда не понравились. Она заканчивала чей-то портрет, держа его перед собой на коленях, а складной стульчик перед ней был пуст; видимо, портретируемый, не признав сходства, исчез, но она еще сердито водила цветными мелками, добавляя тупой похожести, на которую клюют невежды.

Помню, сердце у меня застучало вдвое быстрее, верно угадав момент жизни, от которого начнется что-то другое, сердце застучало, отдаваясь в висках, и не своим от волнения голосом я спросил:

– Меня нарисуете?

Она глянула в мою сторону сквозь очки и мрачно кивнула на складной стульчик:

– Садитесь.

Нет, не мрачно, скорее безучастно, и даже не безучастно, а со скрытой неприязнью – я был работодателем, а ее натура протестовала против этого. Но она пришла сюда зарабатывать деньги и поэтому сказала «садитесь». Я сел, ее высокие ноги оказались перед моим носом, и я с трудом оторвал от них взгляд. Лицо ее было смуглым, розовые губы своенравно вывернуты, как у таитянок Гогена, а нос с большими ноздрями по-азиатски слегка приплюснут. Голос звучал низко и уверенно.

– Какой вы хотите портрет? – спросила она. – Цветной, черно-белый?

– Цветной, – сказал я, стараясь не опускать глаз.

– Цветной стоит дороже, – сказала она.

– Я могу себе это позволить, – сказал я.

Она выбрала из пачки листок, шершавый лист для пастели, – и у нее были такие кисти рук, такие умные живые пальцы, что мое учащенно бьющееся сердце дало перебой, а душа заныла.

– Я правильно сижу? – спросил я.

Мне хотелось с ней говорить.

– Правильно, – сказала она, время от времени окидывая меня тем пристально-отсутствующим взглядом, какой отличает художников. – Можете вообще шевелиться.

– А Модильяни писал не так, – сказал я. – Он сначала полчаса смотрел на модель, а писал по памяти.

– Я не очень люблю Модильяни, – сказала она.

– А кого вы любите?

– Ну... – замялась она, явно не желая открываться перед посторонним.

– Серова? – спросил я, потому что в тот момент читал про Серова.

– Да, – сказала она, – и Врубеля. Вот у них получалось.

– Но «Девушку, освещенную солнцем» Серов писал три месяца по восемь часов в день, – сказал я.

– Он мог себе это позволить, – ответила она моей фразой.

– Я как раз собирался сходить в Русский, портреты Юсуповой, Орловой – это черт-те что!

– Да, – сказала она, – неплохо бы сходить.

Похоже, я ей мешал работать, но у меня было мало времени – пятнадцать минут, не больше, как она завершила.

– Не знаю, как он писал свою девушку, – продолжал я. – За три месяца она должна была сильно загореть. А этого незаметно.

– Он создавал, а не копировал, – сказала она. – У него был образ, замысел.

Тем временем что-то вокруг изменилось, как будто мы создали некое силовое поле, притягивающее окружающих. Сначала возникли зрители, затем телевизионщики. То есть сначала возник молодой человек с залысинами и лукавой улыбкой прохиндея, а за ним, как на веревочке, – большой и толстый оператор с переносной телевизионной камерой. Лукавец зацепился взглядом за нашу парочку и что-то шепнул оператору. Тот сделал шаг в сторону, чтобы мы попали в кадр, и прицелился в свой видоискатель. Затем он кивнул ведущему, и тот на цырлах подсеменил к нам.

– Похоже, нас будут снимать, – поежился я.

– Не бойтесь, – сказала она.

Я сидел очень низко, и молодому человеку пришлось сильно наклониться, в руке у него был микрофон.

– Как вы относитесь к фотографии? – спросил он.

– Нормально, – сказал я.

Тогда он спросил, почему я захотел занять свой собственный портрет. Я не мог ему сказать, что на собственный портрет мне абсолютно наплевать, и я стал говорить ему про психологические отношения художника и модели. По его заскучавшим глазам я понял, что говорю не то, что ему нужно, но моя художница слушала с интересом. Потом он спросил, нравится ли мне, что художники вышли на улицы и вообще «такая атмосфера». Все это тогда было еще в новинку нашему суровому городу, и вопрос звучал актуально. Я сказал, что если мы считаем себя Европой, то, как в европейских городах, у нас на улицах должна быть атмосфера свободного, радостного общения. В «европейских городах» я тогда еще не был, наверное, именно поэтому от них в телепередаче ничего не осталось. Удивительное дело – голос был мой, а слова не мои. Вид у меня на телеэкране был слегка затравленный, будто меня брали с поличным. Моя художница держалась много лучше. Хотя и ее слов про милицию, гоняющую художников, в интервью не оказалось.

Портрет был готов, это был не я, не тот я, каким я видел себя в «психологических отношениях художника и модели».

– Может, получилось не совсем... – с сомнением сказала она, но я поспешно сказал: «Что вы, отлично!» – и еще поспешней выложил деньги.

Я выбрался из толпы со свернутым в рулончик портретом. Затем вернулся – стул перед ней уже был занят – и громко спросил через головы:

– Как вас зовут?

Мне нужно было домой, но, покружив по Невскому, я снова вернулся к портику. Ее я не нашел.

II

Назавтра ее не было. Я прошелся по всем засидкам художников, которые она упоминала, я побывал везде – она исчезла. Я чувствовал, что напрасно ищу, что ее сегодня нет и не будет, но не верил инстинкту и продолжал торить мостовые и площади города. Он был прекрасен и пуст, он был ужасен, он был белым на солнце и черным в тени. Я перебирал всякие мелочи нашей тридцатиминутной встречи, весь тот переливавшийся из пустого в порожнее разговор, который теперь мне казался значительным, полным разных поощряющих мою инициативу знаков и символов, и проклинал себя за пижонство. Упустить, потерять, лишиться... И все-то из опасения показаться пошлым. Ведь должен же был я понимать, когда сидел на ее стульчике, – Господи, даже тот стульчик я теперь любил! – должен же был я тогда понимать, что подобным же образом садятся на него и начинают полоскать перед ней зубы десятки других знатоков Серова.

– Вообще-то я оформитель, – сказала она. – И еще я реставрирую иконы.

Нет, она работала не в театре. Она вообще нигде не работала, только где-то там числилась. Да, а на жизнь она зарабатывает портретами. Сначала было страшно – вот так взять и выйти на улицу. Надо было себя преодолеть. Она начала в Пицунде. В Пицунде было проще, там она одна рисовала. Нет, грузины не такие уж щедрые. Они садились, чтобы познакомиться. Каждый предлагал себя в мужья. Чтобы отстали, она говорила, что ей пятнадцать лет. Но они соглашались подождать. Прямо тут же, на стульчике. Они забывали, что садились для портрета, и потом не хотели за него платить. Им была нужна женщина, а портрет им был не нужен, они ничего не понимали в портретах. И не понимали, зачем ей деньги. Деньги должны быть у ее мужчины. Они не понимали, что деньги ей нужны на жизнь, они не понимали, почему она одна. Такая девушка не могла быть одна. В Пицунде она дружила только с мальчишками, с целой ватагой мальчишек, потому что они были чисты и красивы. Грузины красивы только до семнадцати лет.

А потом она сказала, что ей нравится такой возраст, как у меня, и моя седина ей нравится. Когда мужчина начинает седеть, он становится моложе. Потому что светлей. Потому что седина дает рефлекс света на лицо. Не мешаю ли я ей рисовать своей болтовней? Ничего, она привыкла. А вообще-то ей интересно поболтать со мной. И еще она сказала, что на днях должна переехать и будет очень занята. Это я совсем забыл, она просто очень занята. И еще она снова собиралась в Пицунду. Может, она уже там. Там бы я ее наверняка нашел по толпе мальчишек на солнечном песчаном берегу. И хотя я уже понял, что ни сегодня, ни завтра ее не увижу, мистическая интуиция медиума, а влюбленный – почти медиум, говорила мне, что я ее еще встречу.

Я обнаружил ее на четвертый день, когда, согласно Книге Бытия, творец отделил свет от тьмы. Она шла стремительной высоконогой походкой в компании высокого худого мужчины, который был седей и старше меня. Лицо у мужчины было неглупое, но испитое и циничное, и я огорчился за нее. Все было кончено. Мне оставалось только незаметно проскочить мимо. Но она заметила меня, узнала и вдруг побежала ко мне. Пока она подбегала, краем глаза я увидел, как ее спутник соорудил кислую презрительную гримасу. Гримаса была явно по моему адресу.

– Я наконец переехала, – сказала она, улыбаясь во весь рот, будто радуясь встрече. – У меня есть телефон, я могу вам позвонить. Я не люблю звонить из автомата.

Нет, она не давала телефона, она просила мой, она оставляла за собой инициативу, и она сказала:

– Я вам позвоню.

– Когда? – спросил я пересохшим горлом.

Мы встретились рано утром на Невском проспекте, когда он еще чист, свеж и малолюден, и политые мостовые еще не отдали летнему небу свою влагу, и кажется, что тебе не сорок пять, а шестнадцать, и от Невского ты ждешь чуда, и он дарит его на протянутой ладони. Что там? Три клеверные головки: розовая и две белые.

– Это для вас.

Я засовываю их стебельками в карман рубашки, и в темноте кинозала они фосфоресцируют от экранного света.

Никогда в жизни не ходил в кино на первый сеанс. Она тоже. И вообще кино разлюбил. А она и не любит. И если б не нервные соседи слева и справа и, кажется, сзади, мы бы объяснились на этот счет: это ведь нечасто – не любить кино. «Я не уверен, что это искусство», – только и успел сказать я. Я много об этом думал и теперь не уверен. А она просто не любит киношников и переносит это на их продукцию. Она не любит суету, хотя, пожалуй, сама немного суетлива. «Я тоже суетлив», – шепчу я, наклоняя к ней голову, так что задним соседям приходится искать другую точку зрения; зал прямой и узкий, как школьный пенал, непонятно, почему его называли «Титан». «Это потому, что русский человек испытывает тягу ко всему чрезвычайному», – без зазрения совести цитирую я Пастернака и добавляю, что до революции здесь был ресторан

Палкина, а напротив, в «Октябре», – дом свиданий под названием «Шуры-Муры». Господи пронеси, нет больше сил молча трястись от смеха. Мы прыскаем в темноте.

И вечером мы еще вместе. Пьем чай на кухне в ее новой квартире. Она сняла ее на полгода. Отличная хрущевская квартира – балкон, совмещенный с соседским, ватерклозет, совмещенный с ванной, комната, совмещенная с кухней... Ничего, она все здесь распишет – она не выносит скучные интерьеры. На окнах будут витражи, на стенах – декоративные ткани. Конечно, я могу помочь, если захочу, хотя она привыкла обходиться сама. Она с пятнадцати лет сама. Отец, он хороший, но слабый человек. Фантазер. Пишет стихи. В стихах у него тигры, пальмы, пампасы. Вообще-то он инженер-электронщик. Очень хороший электронщик, но очень слабый человек. А мать она ненавидит. Мать все детство ее была – мать не выносит другой жизни рядом с собой. Бабушка – вот кто ее спас. Бабушка взяла ее в свой дом и воспитала. Она скоро возьмет бабушку к себе. Они купят за городом дом и будут жить вместе.

В открытое окно кухни лезла листва кленов, комары-невидимки распевали свои кровожадные песни, легко преодолевая четыре этажа, равные двум 1913 года постройки, по всем трубам вверх-вниз утробно носилась вода, дом гудел, как нутро пациента под фонендоскопом... Нет, она будет жить только в своем собственном доме, за глухой стеной, ей нет дела до того, что вокруг, она создаст свой собственный мир, она умеет все – малярничать, работать по дереву, раскрашивать и обжигать плитку, класть ее.

– Я тоже умею, – сказал я. – Дома я сам облицовывал ванную.

– Это все не то, – поморщилась она, хотя не бывала в моей ванной.

– Конечно, не то, – сразу согласился я. Мне почему-то было радостно соглашаться.

Наконец я сказал:

– Уже поздно, мне пора.

– Да, поздно, – сказала она. – Можете остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно.

Это было последнее наше «вы».

В ней не оказалось ни капли постельного кокетства, она сразу доверчиво, простодушно раскрылась мне, будто наперед знала все, чем я могу ее одарить, и благодарно принимала это, была податливо-послушна и в то же время равна мне в предприимчивости, и та часть моего тела, где приостанавливались в ласке ее живые пальцы, тут же начинала ответно вибрировать, будто пронизанная пучком золотого света; и в самозабвенном бреде соития, которое все не кончалось, я почему-то ощущал себя поющим деревом, вроде яблони, или вишни в цвету, которые по зримому образу ведь ни что иное как белые вспышки, ослепляющие нас в миг очередного умирания.

III

Утром она принялась рисовать новую рекламу, потому что я раскритиковал то, что она выставила на Невском. Я обнаружил у нее совсем другие работы, и они меня поразили. Вообще они мало походили на то, что до недавнего времени привычно висело на выставках моих современников. У одних был профессиональный застой, у других – профессиональное лукавство. Они умели изображать только предметы, но не их связь. Впрочем, была еще надежда, что где-то там, за облезлыми стенами нежилого фонда, все-таки живет и дышит, и заново рождается подлинное искусство. Когда же запреты были сняты и в выставочные залы хлынул сель авангарда, оказалось, что подлинного, настоящего почти нет. Так, отдельные золотые крупички... Оказалось, что когда в обществе нет глубинной потребности в искусстве, то и само искусство вымирает. Мельчает, мелочится, приспособливается. Оказалось, что гениев порождает потребность в них, то есть среда. Лет за двадцать, за одно поколение, может быть, и возродится дух красоты, дух

романтизма. А ей был 21 год, и ей на все было начхать. Затаясь, ушки на макушке, я слушал ее истории, рассматривал ее картины. К себе она относилась иронически. Однако ее было просто обидеть. От насмешки и грубости она была плохо защищена.

Новая реклама у нее не получилась.

– Попробуй на другом фоне, – сказал я.

– Ты прав, – кивнула она и взяла лист плотной розовой бумаги, которой в школьные годы мы обертывали учебники и дневники. Ничего, кроме поросят, на такой бумаге нельзя было нарисовать.

– Да что ты! – воскликнула она. – Ты приглядишься! – и она близоруко беззащитно прищурилась. – Видишь, в тени, за изгибом, она уже не розовая, а голубовато-зеленая. Ей только надо придать абрис лица – она сама засветится, надо только чуть выявить ее фактуру.

Пока она выявляла фактуру оберточной бумаги, я съездил домой за съестным. Заодно я прихватил свой этюдник, так как ее собственный еще болтался где-то у знакомых с половиной ее не перевезенных в новую квартиру вещей. За время моего отсутствия ее прежде розово-светящаяся «тетка» позеленела от усталости.

– Чего-то не то, – растерянно пробормотала она, вставая с колен и скрестно размахивая руками, чтобы разогнать кровь, – чего-то не получается.

Я не стал ее разубеждать. В отличие от большинства женщин, ей нужно было говорить правду.

– Она у тебя похожа на буфетчицу, – сказал я.

– Не в этом дело, – поморщилась она. – Я ее уже нашла. Уже было нормально. А потом я вот здесь ввела фиолетовый, и все потерялось. Знаешь, когда розовый фон, очень трудно найти цветовую гамму, ведь все цвета перекликаются, я рисую и вижу, как они то включаются, то выключаются, как цветомузыка.

– Зачем тебе мучиться с розовым? – сказал я.

– А это интересно, – сказала она, массируя пальцами уставшие глаза.

– Таких теток надо писать с натуры, – сказал я.

– Таких теток вообще не надо писать, – сказала она. – Мне просто нужны деньги, нужна реклама. Тетки очень любят, чтобы их рисовали. Они делают прическу в парикмахерской напротив и идут позировать, они садятся передо мной, и в глазах у них такая тоска. У них комплекс одиночества, они мечтают о мужчине. Они очень терпеливые, и не отказываются от своих портретов, и не просят телефончика. Мой вид их не волнует. Даже ты сел из-за моих ног, ведь так?

– Так, – сказал я. – Но я тут же понял, что ноги ни при чем.

– Как это ни при чем? – обиделась она за ноги.

Когда я, чтобы не мешать ей, лег спать, она еще стояла на коленях перед теткой, розовый фон вокруг которой был теперь перекрыт охрой.

В свете от настольной лампы ее падающие до полу волосы загорались багрецом. Только в середине ночи она осторожно, чтобы не разбудить, забралась рядом под одеяло.

– Ну как? – голосом из сна спросил я.

– Ты не спишь?

– Сплю. Как тетка?

– Ну ее. Не получилась. Завтра я тебя нарисую.

– Я не подхожу для рекламы.

– Ты что?! Ты ничего не понимаешь! – воодушевилась она, привстав, словно намереваясь немедленно посвятить меня в игру света и цвета на моей измятой физиономии.

– Спи, – сказал я и поцеловал ее в лоб.

– Хорошо, – кротко сказала она и сразу заснула.

С той ночи я стал бояться ее потерять.

IV

Я жил у себя, чтобы не путаться под ногами, – она любила свободу и одиночество, – но каждый вечер звонил ей в условленное время, и, если ее еще не было, я начинал умирать. Однажды она задержалась на два часа против обещанного, и я как сумасшедший бегал возле ее дома и едва успел спрятаться в телефонную будку, когда увидел ее. Из будки я и позвонил.

– Где ты? – спросила она.

– Не очень далеко, – сказал я.

– Ты что, ждал меня?

– Нет, я звоню по пути домой.

– Ты... ты можешь приехать, – сказала она, – только я очень устала... Эти несчастные мужики... Им бы только глазки строить. Я заработала всего шестьдесят рублей.

Она просила, чтобы я не подходил к ней, когда она с этюдником сидит на Невском, и я только два раза нарушил свое обещание, но она меня не видела. Оба раза работы у нее не было, и она казалась мне такой незащищенной...

Ее родители и бабушка жили во Владимире, где она окончила художественное училище. «Когда я куплю свой дом...» – часто начинала она разговор или: «Когда придет моя бабушка...» Бабушка была из рода священнослужителей, но в Бога вроде не верила. Не верила и внучка, хотя с Богом у нее были какие-то свои отношения, которых, скажем, не было у меня. Детство ее прошло возле церквей, дядя был иконописцем, и она хорошо разбиралась в иконах. Несколько икон, написанных ее рукой, гуляли по частным коллекциям.

– А что, – хмыкала она, – если человеку хочется иметь восемнадцатый век?

Еще один коллекционер имел акварель «настоящего Шагала», выполненную ею.

– Пришлось повозиться...

– Так он знает, что у него подделка?

– Конечно, он сам меня попросил. Но теперь Шагал висит у него на стене, и все считают, что это подлинник. По-моему, он скоро тоже начнет так считать. Он уже говорит: «Мой Шагал, мой Шагал...» – и, взглянув на меня, она поспешно добавила: – Тебе просто не понять коллекционеров. Это сумасшедшие.

– Я их понимаю, – сказал я. – Я тоже сделал две копии, когда мне захотелось иметь дома своего Рембрандта.

Она еле сдержалась, чтобы не поморщиться, вспомнив те два холста, которые я, всю жизнь балующийся красками, с гордостью показал ей.

– Вот видишь, – сказала она. – Но то копии... – тут она запнулась и извиняющейся скороговоркой выпалила: – Ты все-таки сними их, ладно? То копии, а это новое. Это очень трудно. Надо изучить манеру письма. Ой, там столько тайн! – и она отмахнулась рукой то ли от них, то ли от себя, занимающейся этим тайным делом, то ли от меня, как бы щадя мои потаенные, но не близкие ей идеалы. – Давай знаешь что? – сказала она, словно все еще чувствуя себя виноватой. – Давай ты будешь со мной заниматься поэзией, а я буду тебя учить живописи. Я тебе все объясню, ты поймешь.

– У меня нет таланта, – сказал я, хотя недавно думал иначе.

– Ты не прав, – сказала она не очень уверенно, – ты... ты поймешь.

Она настаивала, что главное – голова, про свою руку она забывала, потому что той не стоило никаких усилий заполнить пустое пространство холста ли, стекла или листа бумаги теми вихрящимися призраками, от которых меня, помню, бросало в дрожь, – только тронь кистью – и тебя поведет.

Страх потерять ее все рос во мне. Он возникал почему-то только по вечерам, утром я был за нее спокоен, я чувствовал, что все хорошо, что она поздно легла и теперь спит, и не звонил ей до полудня. В полдень, как мы услаивались, я будил ее, но она всегда спрашивала: «Который час?» Часов у нее не было – часы ей были не нужны, она жила по собственному времени. Ей неоднократно пытались дарить часы. Но она их теряла. Одни, правда, продержались около месяца, но то и дело выпадали из браслета: в автобусе, в метро, в магазине. Когда они выпали на улице, она решила больше не поднимать их и пошла дальше. Теперь она носила игрушечные, где стрелки, закрепленные под прямым углом, крутились зараз.

Я боялся не того, что она в любой момент может от меня уйти, ведь она и так оставалась сама по себе, я боялся, что с ней что-нибудь случится. Мне хотелось защитить ее от всех напастей мира, а она смеялась:

– Ну что ты выдумываешь. Кому я нужна – старая лошадь?

Она говорила «кому» – значит, одушевленные напасти для нее все-таки существовали.

Прямо над тахтой, на которой она спала, висела большая картина, выполненная ею семь лет назад, стало быть в четырнадцатилетнем возрасте. Картина изображала смерть. Смертью была старуха без возраста с нежным телом. Тело она написала свое, глядя в зеркало. Лицо у старухи было бесплотное, одна кожа, натянутая на череп. Череп улыбался. Через глазницы глядела чернота. Сзади был изображен обнаженный мужчина, мертво лежащий на спине. А внизу – голова юноши, напоминающего Антиноя. В волосах юноши, как в гнезде, стояла на цыпочках птица с длинным тонким клювом и безумно-тревожным взглядом. Птица пыталась обнять крыльями огромное, больше ее, яйцо. Еще были не то какие-то стебли, не то кровоточащие вены: капли крови превращались в цветок. Из цветка рождались гладкие фигурки женщин, а под цветком толпились грубые фигурки мужчин с воздетыми руками. Символика была прямолинейной, как и мир в четырнадцать лет. Картина распадалась, но две ее точки болезненно притягивали взгляд – изогнутая щель смертельной улыбки и птица, обнимающая гигантское яйцо. Второй образ она объясняла так: это какая-то идея, какая-то огромная мысль, человек породил ее, но не может ее согреть, она оказалась больше его, она ему не по силам, у него нет на нее крыльев. А первый... она и не знала, что об этом есть строки:

Ужасный род царицы Кору

Улыбкой привечает нас,

И душу обнажают взоры

Ее слепых загробных глаз.

Она сама писала стихи. И еще сочиняла музыку. Впрочем, и стихи она сочиняла, то есть не записывала, она держала их в голове и над некоторыми неудавшимися строчками «работала» по году. Как-то я принес диктофон, и, прогнав меня с кухни, она целый час начитывала их на пленку. Стихи напоминали ее картины, но были вполне дилетантские, хотя отдельные строчки почему-то сразу запомнились: «Мокнет демон на скамейке, бородач без бороды...» Лучше же всего было само ее чтение. Голос звучал то страстно, то печально, то заклинающе, на каждое стихотворение у нее были свои краски, это был театр одного актера, это была целая труппа.

– Ну а как же иначе? – сказала она. – Ведь стихи, они все разные.

Моя же попытка отнестись к ним объективно была большой моей глупостью. Она жила в своем мире и не нуждалась в объективности. После моих замечаний стихи она забросила.

– Они все плохие, – говорила теперь она.

Ох, не надо учить птицу летать.

Музыкой она занималась в музыкальной школе, еще она занималась фотографией, танцами, аэробикой и, кажется, состояла в секции моржей. Всем этим занимались многие из нас, но, когда в фойе кинотеатра она села за рояль, я снова замер – у нее был дивный звук и какая-то особенная левая рука.

– Да, левая рука у меня все время хочет поспорить с правой, она не хочет ее слушать, ей обидно, что права не она, а правая.

– Тебе нужно играть Скрябина, – сказал я, – пьесы для левой руки. У него левая рука играет за две.

Когда ей не надо было зарабатывать на портретах, она сутками не выходила из дому и писала свое. Натура ей, по ее уверениям, была не нужна, она ее помнила, как стихи, каждую деталь. Она рисовала мужское тело и объясняла мне каждую мышцу, где какая крепится и куда идет, и каждую косточку, к которой эта мышца прилегает. Так же она рисовала и лицо. Стрелкой она указывала источник света и начинала покрывать контур тенями и полутенями. Лицо проступало из белого листа, как из замутненного паром зеркала. Лицо обретало взгляд, то есть выражение, и она объясняла, от каких мышц взгляд зависит.

Но глаза она не рисовала – ее вихрящиеся персонажи смотрели на зрителя черными глазницами.

– Это ты у Модильяни взяла? – спросил я.

– Ты что! – возмутилась она. – Модильяни просто не рисует зрачков. У него все как слепые котята. У меня иначе. Взгляд – он ведь очень конкретен, он приземлен, он смотрит в одну точку. А у меня смотрят изнутри. Это сама душа смотрит из глазниц. Вот приглядишься, – и она направляла руками мою голову, чтобы я правильно пригляделся. – Видишь, какой у них широкий взгляд, они обнимают им сразу весь мир.

Вскоре я действительно привык к этим черным или оранжевым, будто внутри бушевало пламя, глазницам, и направленный человеческий взгляд стал мне казаться суетливым.

V

– Я всегда была ужасно упрямая – меня нельзя было переупрямить. Поэтому меня били. Воспитательницы в детском саду и мать. Мать вообще зверела. А мальчишки – они меня охраняли. Я была их предводительницей. По заборам лазила. Волосы распущены, как знамя. Я была их знаменем. Я тоже дралась. Мы всегда побеждали. Но драться я не любила, хотя была

сильной и меня боялись. А воспитательницы, они меня не боялись, они меня ненавидели. Знаешь, какие воспитательницы у нас были... Такие толстые тетки, фашистки. Они требовали, чтобы мы все делали по свистку. Когда мы сидели вокруг тетки, руки надо было держать вот так, – и она показывала, как следовало держать руки. – Они требовали, чтобы мы их слушали, но я не могла их слушать, они говорили чушь. Мне было пять лет, и я уже понимала, что они тупые как пробки. Тупые и поэтому жестокие. Я приходила домой и рассказывала отцу. А он у меня такой... он у меня домашний философ. В магазине он стесняется продавца, рта не может раскрыть, зато дома... дома он рассуждает о мировом добре и зле. Он выслушает меня и рассуждает, шагая по комнате: «Да, это известный метод воспитания, в основу его положен принцип кнута и пряника. Если воспитательница будет допекать тебя своей глупостью, ты можешь ей ответить: ваш интеллектуальный уровень лишает меня возможности объясниться с вами. Предлагаю вам отношения нейтралитета». И представляешь, наутро в детском саду – память у меня хорошая – я все это выкладываю воспитательнице. У нее глаза на лоб, и она мне тут же дает такую затрещину, что я кубарем качусь к двери. А дети смеются.

Но я все равно делала по-своему. Я в группе заводилой была, пела, играла на пианино, танцевала. Я лучше всех танцевала и пела, и в праздник без меня не обходилось. Помню, на Новый год меня вырядили Снегурочкой и песню заставили разучить, глупую такую песню, ты, наверное, знаешь, там такие слова: «Елочка, елочка, елочка, зажгись! Огоньки на елочке бойко скачут ввысь». Очень противная песня. А тут как раз я фильм посмотрела про Остапа Бендера. Остап Бендер был мой любимый герой. Помнишь, он там поет: «Где среди пампасов бегают бизоны, где за баобабами закаты, словно кровь...», там еще есть такие слова: «И одною пулей он убил обоих». Я все не понимала, как это – одной пулей. Спрашиваю у папы, а он глаза отводит, краснеет, говорит, что я это сама пойму, когда вырасту. Ну вот, а у меня тогда игрушечный пистолет был, ковбойский, в ствол у него спереди закладывался шарик на нитке. Нажмешь курок – и он хлопает. Я очень любила из него стрелять. Мне очень хотелось быть ковбоем. И вот на новогодний праздник меня вырядили в Снегурочку, с этим дурацким, как его, с серебряным кокошником. Ужасный наряд. И я вышла на сцену. А под нарядом у меня был пистолет спрятан. Тут тетка заиграла на пианино – у нас была одна играющая тетка, она очень плохо играла, только в до мажоре – она заиграла эту ужасную «елочку», а я вытащила из-под юбки свой ковбойский пистолет, выстрелила и запела: «Где среди пампасов бегают бизоны...» Я не помню, что там делала тетка, кажется, она перестала играть – она не умела подбирать на слух. А я, когда надо было спеть «и одною пулей он убил обоих», я снова зарядила пистолет и выстрелила, целясь в тетку. А в зале были родители. Только моих не было. Папа боялся ходить в детский сад, а мать вообще не обращала на меня внимания. Родители в зале ползали по полу от смеха. А я пела и стреляла. А потом гордо ушла со сцены. Я думала, какая я актриса, всех победила. А они там меня уже ждали, эти тетки. Они схватили меня за волосы и стали бить, молча, а я сопротивлялась. Тоже молча. Я кусалась, как волчонок. Но они были сильнее. Чтобы я не кусалась, они свалили меня на пол и били ногами. А зал за дверью аплодировал, там хотели, чтобы я еще раз вышла и спела. Потом я, кажется, болела два месяца и в детский сад не ходила. Я была в больнице, у меня было что-то с нервами. Врачи говорили, что это нервный срыв. А я еще больше ненавидела детский сад. Нет, матери я никогда не жаловалась, – я знала, что, если пожалуюсь, тетка меня еще больше накажут.

Я вообще часто болела, хотя считалась очень сильной. Бабушка мне рассказывала, что, когда я была совсем маленькой, меня отдали вместо яслей одной старухе. Мест в яслях не было, а эта старуха содержала что-то вроде яслей. Там было несколько таких, как я, кого не кормили грудью. Что-то этой старухе платили, и она нами занималась, пока родители на работе. Так вот, бабушка однажды после работы зашла за мной и видит: я лежу голая на кафельном полу, мне тогда месяца четыре было, а старуха меня сверху поливает из чайника холодной водой. А я ору во всю глотку. Наверно, меня надо было помыть после этих дел, а старуха была очень брезгливая. После этого бабушка меня оттуда забрала.

У меня на этом свете только один близкий человек – моя бабушка, если б не она, я бы, наверно, не выжила. Она мать моего отца, но она не такая, как он, он слабый, а она сильная. Она потеряла мужа во время войны, она была тогда еще совсем молодая, красивая, она и сейчас красивая, ты же видел ее фотографию, красивая, правда же? И после войны к ней многие сватались, но она не захотела ни с кем быть. Она так и осталась одна, воспитала моего отца, а

потом меня. Отец, наверно, пошел в дедушку, дедушку убили сразу же, как только он оказался на фронте, в первые дни. Отцу тогда было всего два года, и он ничего не помнит. Отец вообще от жизни далек: он пишет стихи про пальмы и тигров и читает только научную фантастику. Он и меня приучил к научной фантастике. Нет, в ней что-то есть. В ней есть интересные мысли. В ней нет серости, обыденности. Я ненавижу обыденность. Фантастика – она вся на воображении. О, если б мне удалось нарисовать все, что у меня в голове! Там такие замыслы! Я каждый день себя ругаю, что занимаюсь не тем, но мне нужны деньги, мне нужно много денег, чтобы быть свободной, купить дом и жить как хочется. Я все равно напишу все свои картины. Я не спешу их писать, я что-нибудь напишу, а завтра вижу – все не то. И мне стыдно, что я это сделала. Знаешь, есть два типа художников, одни не боятся выставлять свои вчерашние вещи, они говорят себе: то, что для меня вчерашний день, для остальных – это сегодня. Так они себя оправдывают. А другие – это как я. Мне стыдно за вчерашнее. Мне хочется поделиться только тем, что я сегодня поняла и открыла. Чтобы это было сразу, один процесс – я открыла, а зритель увидел, чтобы мы общались, чтобы это было живое общение, чтобы нам обоим было интересно: мне и зрителю. А зачем выставлять то, что уже умерло в тебе? Если б можно было устраивать выставку сразу же, как только напишешь. Но это ведь невозможно.

И еще у нас был разговор о моем поколении, о том, что все мы никто. Нас не заметили, в нас не было нужды, время нас не позвало, видно, нашего времени и не было. Лучшие наши годы точно уложились в период, названный теперь «застоем». Но разве мы не жили?

«Где ты работаешь?» – вскоре после нашего знакомства спросила она меня. Я ответил. «Я понимаю, что в музее, – сказала она, – но что ты делаешь?» Она спрашивала не о работе, ее интересовало творчество. И я сказал, что пишу стихи. Ответ ее удовлетворил, а мои стихи ей понравились, и она мечтала, что я выпущу их с ее иллюстрациями. «У тебя хорошие стихи, – сказала она, – почему ты их не печатаешь?» «А ты почему не выставляешься?» – спросил я и сказал, что нынешнее общество прекрасно обходится и без поэзии, а живопись – вообще атавизм, и что возрождение – еще не скоро, и что наш удел – быть невостребованными, но что это все же предпочтительней, чем быть в центре внимания, стуча в большой барабан лжи. И еще я сказал, что поэт, художник – это совесть настоящего и проба будущего, а без художника общество неизменно попадает в тупик. «И что, сейчас у нас нет хороших поэтов?» – спросила она, не имевшая ни малейшего представления о том, что называется современной литературой, и из всех русских поэтов любившая только Лермонтова. «Есть поэты», – сказал я и назвал двух или трех. Но, назвав, почувствовал знакомую тоску – это были просто хорошие поэты, однако поэта истины так и не пришло. Да и я для своих стихов тоже подобрал брошенную дудочку: слова были мои, но мелодия – уже хорошо знакомой.

VI

Однажды, нетерпеливо стягивая с меня рубашку, она вдруг оставила в ней мою покорную голову и, постучав ребром ладони по моей шее, сказала надо мной:

– Теперь я знаю, как Юдифь отрубила голову Олоферну.

И я замер, будто догадавшись, почему она любит эту картину Джорджоне.

– Эй, – подергала она за рубашку. – Я же не Юдифь. Не бойся меня. Я и мухи не обижу. Мне всех жалко. И этого наивного глупого Олоферна. Я бы его и пальцем не тронула. Я ведь улитка.

Так впервые она назвала мне свое имя.

Я перевез к ней почти все свои альбомы, и по вечерам мы рассматривали их. Я учился у нее смотреть заново. Авторитетов для нее не существовало. Сальвадора Дали, восторг моей юности, она называла ремесленником, штукарем.

– Я смотрю на его работы, и мне хочется ему помочь, он ничего не понимает в цвете – все это раскрашенная графика, а не живопись. Разве можно делать такую скучную голубую заливку на полкартины? Каждый кусочек полотна должен сверкать, он должен нести максимум информации,

хотя бы цветной. А у него провалы, пустоты. Вот смотри, Ван-Гог – вот Ван-Гог цвет чувствовал. Вот у него желтый, а рядом, смотри, синий или голубой. А где зеленый, там красный. Они поддерживают друг друга, уравнивают. Это не я выдумала. Это закон. Я сама все предметы вижу в спектре. Но даже если этого не дано, этому можно научиться, надо только очень много смотреть. Нет, у Дали есть, конечно, картины. Он мастер, но не художник. И у него ужасный вкус. Если бы он поменьше писал свою жену... Я уже давно поняла, что публику привлекают не самые талантливые, а самые ловкие. Главное – заставить ее говорить о себе. Убедить, что ты гений. Вот в чем искусство. Самый яркий пример – Пикассо. Что он только ни вытворял, а ему аплодировали. Или кивали с важным видом. Зрители – они ведь не понимают ничего, поэтому боятся прослыть невеждами. А Пикассо понимает, что они невежды, и смеется над ними. Это самый большой фокусник.

– Но у Пикассо много прекрасных работ, – заступался я за Пикассо, которого любил и считал, что понимаю за что.

– Еще больше ужасных. Он просто очень умный человек, он очень умело морочил голову.

– Он не морочил. Он делал, что хотел. Он искал новые формы, новые средства выражения. Он вообще все перевернул. Я думаю, что он очень большой художник. Он художник для художников. Он многолик, как Протей.

– Нет, – спокойно качала она головой, ничуть не тронутая моей апологетикой. – У него нет ничего такого, чему стоило бы учиться. Даже линия его мне не нравится – рваная какая-то.

– Ну ладно, – горячился я. – Бог с ним, с Пикассо. Но почему тебе не нравится Гойя? Для меня это величайший психолог в живописи. Больше таких не было. Даже Леонардо да Винчи не психолог. Он просто дьявол или Бог. А Гойя... «Маха обнаженная» – это черт знает как здорово! Я влюблен в нее уже тридцать лет.

– Она плохо написана, – быстро, виновато сказала Улитка, словно ей было больно меня огорчать. – Ну посмотри, – приглаживала она передо мной разворот репродукции и прикрывала верхнюю часть картины, оставляя ноги, живот и едва намеченный треугольник. – Вот это неплохо, почти хорошо, правда ступни красноваты, будто натерты, но... ничего. А здесь, – и она прикрывала нижнюю часть, – здесь все неправильно, торс вытянут, он должен вот здесь кончиться... И лежать так невозможно – нижняя линия бедра должна идти вот сюда. А груди... Особенно правая – она не может быть такой, даже если ее накачать парафином. И голова большая... Нет, тут все не так, – голос звучал мягко, увещающе, так говорят с детьми. – И ноги нехорошо лежат. У нее нехорошая поза. Разве так лежит женщина? Вообще по цвету она похожа на молочную сосиску.

Однако «Маху» я ей тем более не собирался уступать и говорил, что в неуравновешенности ее позы, в диспропорции верха и низа проступает правда мира, захваченного как бы врасплох со всеми его неправильностями, погрешностями, со всем тем тайным, подспудным, мятежным, мятущимся, что и есть наша подлинная жизнь, какой бы улыбкой мы ни пытались ее скрыть.

Но она слушала меня вполуха, и я было уже начал думать, что у нее полная путаница в голове и что нам придется со всем этим постепенно разобраться, как вдруг она сказала:

– Веласкес – вот кто гений. Посмотри, как у него...

Действительность она не принимала. Она говорила: «Когда я построю дом, я обнесу его высокими стенами и буду гулять в саду, и мне все равно, что там снаружи». И когда я начинал говорить ей о нашей истории или о нашем горестном настоящем, она пожимала плечами:

– Зачем ты мне это рассказываешь? Я не хочу знать, это не мое.

А я говорил ей, что без знания прошлого и настоящего она не сможет расти, и что мы начинаем вглядываться в прошлое с того момента, как понимаем, что мы гости, а не хозяева за сегодняшним столом, и что скоро нас сменят другие. Что действительность относится к таланту,

как ракушка-жемчужница к застрявшему в ней камушку. Она его терпеть не может, но превращает в перл.

– Нет, – говорила она. – Смысл настоящего искусства только в красоте и гармонии, больше ни в чем. А красота и гармония выше прошлого, настоящего и будущего. Они вечны.

Мне нравилось все, что она говорит, даже если я не был с ней согласен. Но тревога моя не унималась.

Иногда я звонил ей по телефону и молчал.

– Ну что с тобой? – спрашивала она. – Говори немедленно, что с тобой. А то я не буду спать всю ночь.

И я бормотал в ответ что-то нечленораздельное, но бодрое.

– Ты вот что, – говорила она, – ты сначала сформулируй, что ты хочешь мне сказать, а потом звони. Договорились? А то я так не могу, я не знаю, что делать, как тебе помочь. Я и так думаю о тебе все время. Это даже мешает мне работать.

– Спасибо, – говорил я и вешал трубку. И сидел, обхватив голову руками, и не хотел жить.

А потом я снова набирал ее номер и на ее радостное «Алло!», будто у нее там шло невесть какое празднество, говорил:

– Я сформулировал.

– Ну? – радостно вопрошала она.

– Я тебя люблю.

– Я тебя тоже очень люблю.

– Только не говори «очень».

– Я тебя ужасно люблю.

– Я тебе поверю, когда ты просто скажешь, что любишь, – говорил я, кажется, начиная понимать, что со мной, – она меня не любила. Она дружила со мной.

Она сама сказала, что не может любить. Что боится любви. Что если она полюбит, то потеряет все сразу – свою живопись, свою свободу, свою голову, потому что иначе она любить не умеет.

– Если я люблю, я погибну, – говорила она.

Я не хотел ее гибели, но я хотел ее любви.

VII

Песочные часы... На многих ее картинах были песочные часы. Она их любила. Они показывали не время, они показывали, как радость перетекает в печаль. Печаль была обратима – надо было только перевернуть колбочки. Иногда радость стекала в верхнюю прозрачную сферу прямо с неба, материализуясь в образе голубой хризантемы или белого мака, а в нижнюю капали слезы.

– Это все слишком красиво, – говорил я. – Правда не может быть слишком красивой. Она скорее уродлива.

– Не хочу такой правды, – говорила она.

Песочные часы держала на ладони на уровне плеча ее постоянная героиня – она сама. Иногда она задумчиво стояла на коленях среди высокой травы, в другой руке у нее был лысый одуванчик с двумя-тремя неоторвавшимися парашютиками. Листья одуванчиков были ее любимой едой. К этому ее приучила бабушка. Одуванчики со сметаной. Черепаша тоже предпочитает одуванчики, заметил я. Вот видишь, сказала она, посчитав, что я сделал ей комплимент.

В саду у бабушки росли самые красивые цветы, ни у кого из соседей таких не было. На них ходили любоваться со всей округи. Она любила ночевать в садовом сарайчике. Из всех углов торчали пучки засушенных трав и цветов. Из сена шло вкрадчивое неумолчное шуршание, будто кто пробирался к ней и никак не мог пробраться, сквозь рваную щель в кровле были продеты пять лунных спиц – это сама луна пыталась ее нащупать во тьме ночи. Превозмогая страх, она отворяла дверь, выходила в сад, и ее обступали цветы, холодные, остывшие, влажные, полные лунного света и ночной лунной тяжести, а точнее, печали, которая только днем походила на радость.

Бабушка любила делать подарки. За подарками ездила в Москву, деньги же выручала за цветы на базаре. Улитка этого не знала. Однажды они столкнулись в цветочном ряду. Улитка сделала вид, что ни о чем не догадалась, а бабушка – что здесь случайно. Вместе с цветами они пошли домой. Больше цветы не продавались.

Подарки были дорогие.

– Ты бы видел мое пальто, от самого Зайцева!

Но при мне она надевала его раза два. Месяцами она ходила в чем-нибудь одном. Одежда или отдавалась подругам, или выбрасывалась. Меховую, по последней моде, шапку она оставила у меня. Я приносил обратно, но она опять запихивала ее в мою сумку:

– Я все равно не буду ее носить!

– Но почему?

– Она мне мешает думать.

Однако красивые вещи она любила. Они ее возбуждали. Она натягивала колготки в крупную ажурную сетку, вставляла на высоченные каблуки и так весь день гарцевала перед начатым полотном.

– Когда я пишу, я должна быть хорошо одета, я должна хорошо выглядеть – это меня мобилизует.

Это не было правилом – но на данный момент это могло быть так. Один Бог знает, из чего она черпала вдохновение. Но вряд ли из одного и того же. Каждый раз источник был другим. Вид собственных стройных ног в черной сетке ее возбуждал. Лежа рядом со мной, она воздевала ногу, сгибала в колене и прищуривалась:

– Смотри, сетка – она организует объем плоти. Ногу ведь очень трудно нарисовать. Кожа отсвечивает, переходы неуловимы, форма ускользает. А так, смотри, ее облегают клеточки, они лепят ногу – так, так и так. Вот тут, – указывала она на лодыжку, – сгущение, а тут наоборот... клетка большая и свет рассеивается. Объем – это ведь количество света. Сетка пропускает его как раз столько, сколько нужно, чтобы уловить форму. Можешь попробовать нарисовать мои ноги. Ты увидишь, как это легко.

Возбуждала ее и музыка. Даже не музыка, а звуки, звуковой поток. Она работала под музыку, неважно какую, лишь бы не было тишины. Тишина ее угнетала. Она могла крутить одну кассету с утра до вечера. Мой магнитофон она забраковала только потому, что в нем не было автореверса.

– Тебе трудно раз в полтора часа поменять кассету?

– Зачем? Я не хочу отвлекаться. Я ведь рисую. Нужно все бросить, подходить, переставлять. А у меня, может, как раз вдохновение.

– Но так музыку не слушают. Это не музыка, а музыкальная жвачка. Разве можно слушать целый день одно и то же?

– Я могу.

Когда музыки не было, но был я, я читал ей. Я читал до тех пор, пока не садился голос. Я читал, а она колдовала перед холстом.

– Ты хоть слышишь меня?

– Конечно.

– И все усваиваешь?

– Все. Потом мы с тобой обсудим. Ты читай, не отвлекайся.

– Больше не могу.

– Ну хорошо, тогда поставь музыку.

Но иногда кисть в ее руке вдруг замирала:

– Ты хорошо читаешь...

Я еще больше старался.

– Ты очень хорошо читаешь, – говорила она и бросала кисти.

– Что? – вопросительно поднимал я брови.

Она смущенно улыбалась, и глаза ее переставали видеть:

– Я хочу к тебе...

– Прямо сейчас?

– Да... – переходила она на шепот. – Меня взволновал твой голос.

«Хочу к тебе» вместо «иди ко мне»... И я слушался ее. Ее можно было только слушаться, ею нельзя было повелевать. Чувство, которое она вызывала, было для меня новым. Будто я не брал, а отдавал. А потом наступала волшебная легкость. Я не мог вспомнить, чтобы испытывал раньше нечто подобное.

Она любила, чтобы я приходил к ней утром и будил ее. Она нежилась в постели, пока я не приду. Она любила открывать мне дверь в пончо на голое тело, в ауре накопленного сонного тепла, и прижималась к моему веющему октябрьским холодом плащу.

– Ты простудишься!

– Нет, – шептала она, – я жду тебя с семи утра...

– Я сейчас, – говорил я и, с трудом оторвавшись от нее, бежал к крану, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки под горячей струей воды. И когда ложился к ней, то еще прятал ладони.

«Хочу к тебе».

Кроме меня и живописи время еще отдавалось подругам. Я уступал ей это время, хотя хотел быть с ней всегда, постоянно, каждую минуту. Но я уступал ей ночи и даже целые дни, чтобы она скучала по мне, чтобы ей хотелось меня видеть. Больше всего на свете я боялся прискучить ей. Поэтому я старался уходить чуть раньше, чем нужно. Я знал, что, как бы ни было ей хорошо со мной, она неизбежно испытает желание остаться одной. Подруги этого не знали и быстро

надоедали ей. Но без подруг она не могла. Верней – она не могла без женщин. Женщины ее тоже волновали. Женское тело ее волновало больше мужского.

– А ты не испытываешь желания их ласкать? – спрашивал я.

– Нет. Но меня к ним тянет. Они такие красивые, нежные, плавные. Мужчине не понять.

– Будто бы.

– Вы... мужики... – голос ее становился уличным, насмешливым, отстраненным. – Вам бы только хапнуть, завладеть, распять... А я изучаю, смотрю.

– Я тоже смотрю.

– Это потому, что в тебе много женского... Но я с ними скорее мужчина, чем женщина. Я слежу за ними, я их просто выпиваю, впитываю в себя. Я вообще к людям отношусь, как паук к мухе. Я насыщаюсь, а потом бросаю. Потом они мне неинтересны.

– Но меня ты не выпила.

– Потому что мы с тобой равны. Потому что ты тоже художник. Художник не может выпить художника.

– А зачем ты с ними спишь?

– Потому что у меня одна кровать. И потом они такие нежные, теплые... Женское тепло меня успокаивает. И на душе становится прохладно. Разве можно выспаться рядом с мужчиной...

– А они тебя не боятся? Не принимают за лесбиянку?

– Ты знаешь, немного побаиваются. Я это чувствую. Я чувствую в себе это начало. Мне кажется, что я могу кого-нибудь соблазнить. Но мне это не нужно. Мне достаточно наблюдать. Вообще мне секс не очень нужен, ты же знаешь.

– Да, знаю.

– Я вообще думала, что обойдусь без секса. Я была долго убеждена, что это не для меня. С пятнадцати лет мои подружки уже сходили с ума, а я сказала себе, что это не мое. Что я проживу без этого. Что я должна прожить как-то иначе, над всем этим... Мне не хотелось плоти, мне не нравилось думать об этом и говорить. Я и женщиной стала всего два года назад, и то из любопытства. Я просто так решила. Я вообще всегда старалась многое переживать и постигать через чужой опыт. Чтобы не повторять чужих ошибок. Мне не хотелось стать к двадцати годам такой, как мои подружки.

– Но тут чужой опыт не поможет...

– Ты прав... – усмехнулась она. – То, что я сама про себя придумала, повредило мне. И потом, когда все началось, было очень трудно. Я была психологически не готова к этому. Мне это не понравилось. Я не понимала, зачем все это делают. Я это делала не для себя – мне было просто жалко на вас смотреть...

– И меня тебе жалко?

– Нет, с тобой мне хорошо. Мне очень хорошо с тобой. Ты вне конкуренции.

Я верил.

С подругами она знакомилась на улице. Она рассказывала так:

– Мы увидели друг друга и бросились навстречу.

Подруг она выбирала красивых и стройных. Несколько дней она возилась с очередной избранницей – водила в ресторан, дарила тряпки, оставляла у себя ночевать, давала житейские советы, потом продолжала опекать уже на расстоянии, ссужала деньгами, зачастую без надежды заполучить их обратно, отвечала на телефонные просьбы, выслушивала признания в любви и фразы типа: «Кроме тебя, у меня никого нет», «Мне страшно без тебя», потом блеск в ее глазах пропадал, рассказы прекращались, и она начинала страдать и сердиться.

– Ты их делаешь несчастными, – говорил я.

– Я хотела помочь. Я хотела наставить на путь истинный. У них такой низкий старт. Я хотела открыть им глаза. Чтобы они поняли, как надо.

– Хорошо. Они поняли. Глаза у них открылись. Как им теперь жить? Им было много легче, когда они не понимали. Они все равно не станут тобой, не смогут жить, как ты. Чтобы жить, как ты, надо иметь талант. А у них нет таланта. Они просто живут. Раньше они знали, чего хотят, а теперь не знают. Ты их заморочила.

– Но нельзя хотеть то, что они хотят. Надо стремиться выше. Так ведь нельзя жить.

– Тогда не бросай их. Тогда будь с ними всегда. Открой пансионат для благородных девиц. Облагораживай их. Выдавай замуж, принимай роды. Ты их приручила? Так отвечай за них.

– Ой, они мне так надоели...

– Теперь они станут твоими врагами.

– Ты знаешь – нет. Они не становятся моими врагами. Они сами уходят. Они не выдерживают. Это не я, это они меня бросают. Меня все бросают.

Алена, эльфическое существо, пятнадцать лет, Вагановское училище, дымчатые глаза под прямыми бровями... Когда я увидел ее, что-то в моем сердце, отданном Улитке, дрогнуло. Она подсела к Улитке на Невском, ей хотелось иметь свой портрет, и Улитка не взяла с нее денег. А вечером Алена сидела у нас на кухне, пила чай с медом и рассказывала свои простенькие интернатские истории. Для своих лет она была неглупа, правильно строила фразу, хотя и затрачивала вдвое больше слов, чем Улитка; та шепнула мне, что она из «трудной» семьи, где есть и сестры и братья, нет только отца, а мать кем-то вроде бухгалтера, и оба мы настроились помочь ей. Тогда мне казалось, что мы в состоянии помочь всему свету. Наверно, Алена немного играла, ну самую малость, но ей было пятнадцать, и ей хотелось нравиться. Она и нравилась – всей своей юной статью, уже профессионально выправленной, так что спина была дивно прямой, а шея долгой, и подбородок горделиво вскинут, – так сидели наши прабабушки в петербургских салонах, теперь же так умели сидеть только балерины, будто только им досталось в наследство то, что навсегда утрачено нами; и до меня вдруг дошло, за что я, пожалуй, и люблю классический балет, – вот за этот самый дух утраченного, за тайну сведенных лопаток, за линию рук, за женственность эпохи романтизма, за романтизм женственности. Как много высоких тайн обещалось в Алене, как выглядывали они из-за ее пока не очень точной, сбивчивой речи, которой она помогала усилием прекрасных соболиных бровей. В ней самой было что-то от гибкого соболя или от ласки, пусть это все уже было у того же дьявола Леонардо да Винчи, – ведь женская красота искушает без всякого разума, она пробуждает инстинкт, что древнее самого первого слова, про которое сказано, что оно-то и было в начале; если б так, нам бы легче жилось, но не слово правит бал. «Ты ведь развращен», – спокойно и без осуждения сказала однажды Улитка, исходя не столько из знания обо мне, сколько из предположения, что с мужчиной сорока пяти лет иначе и быть не может. «Думаю, что нет», – столь же спокойно ответил я, убежденный в обратном, – что по сравнению с юностью, которая чиста, я утратил не так уж много и поклоняюсь тому же, разве что менее пылко. Но в приложении к моменту, когда я, стоя у кухонной двери, следил за Аленой, может быть, Улитка была права. Да, я испытал суетное мужское беспокойство рядом с девочкой, которая вот-вот превратится в женщину. Почувствовала ли Алена тот мой тайный, спрятанный импульс, когда распивала чай, безукоризненно прямо держа спину, а я стоял у двери и изображал из себя доброго папашу? Не знаю.

Затем Алена кому-то позвонила, чтобы ее встретили, – было поздно, темно, шел дождь, и Улитка послала меня проводить ее до метро. Мы шли рядом, обходя лужи, я держал над Аленой зонт, и она, чтобы и мне досталось укрытие, зацепилась за меня, избегая, однако, касаться бедром, и что-то снова рассказывала – странно, но я не помню ничего, зато помню затрудненность нашего пути, ощущение собственных лет рядом с ее годами и чërта, сидящего на сгибе наших перекрещенных рук, на моем локте. Помню и свое подмороженное лицо.

Больше я Алену не видел. Не хотел видеть – выбор был сделан, и только оставалась досада, что однажды он все же подвергся испытанию. А Улитка возилась с Аленой, пестовала, дарила тряпки, косметику, давала советы... пока однажды ночью не раздался телефонный звонок и Аленин голос, странно спокойный, как бы рассчитавший все так, что не осталось места для эмоций, сказал:

– Послушай, я беременна. Мне нужно сделать аборт. Мне нужны деньги.

Боже мой, Алена, девочка, эльф, атласные крылышки в кордебалете «Жизели»! Впрочем, «Боже мой!» воскликнул не я – меня, как всегда, не было ночью с Улиткой – воскликнула сама Улитка, и что-то в ней оборвалось тогда, рухнуло, еще одна иллюзия рухнула, погребя под собой ее любовь к Алене, ее заботу о ней. Улитка понеслась в ночь выручать – дала денег, нашла врача; ох, не первый, не первый раз обращались к ней с такой просьбой, но Алена! Улитка прогнала ее мальчика, познакомила с одним из своих добрых друзей, чтобы тот взял под свое тридцатилетнее сильное крыло, но не крыло нужно было пятнадцатилетней Алене, а сапоги, колготки, зимнее пальто. Она вдруг открыла, что то, что называют любовью, – это вроде постоянного обмена одного на другое, нечто материальное; что от души одни страдания, а от них одна убыль. Тогда как можно вовсе не страдать и даже постоянно выгадывать на желании, которое она пробуждает в мужчинах, и что есть очень много мужчин, которые думают так же, как она, и готовы на более или менее честную сделку, и она пошла в эту сторону, и Улитка ее не удержала, потому что не могла содержать ее, потому что идея частного пансионата откладывалась до лучших времен. Алена, ее прекрасные брови, выражавшие то, что она хочет сказать, быстрее и точнее слов... В ней Улитка потеряла свою мечту о сестре. Сколько их прошло передо мной – ее несостоявшихся сестер, их приносил ветер, а уносила буря, и ни одна не удержалась, не продержалась рядом на тихом Улиткином острове.

Улитка тосковала по сестре, она тосковала по заботе о беззащитном существе женского рода, и я не мог ей в этом помочь.

– Хочешь, я буду твоим братом?

– Я хочу, чтобы ты был самим собой.

VIII

Я любил с ней бродить по городу. С ней я видел город заново. Близорукая, в очках, зрение у нее было минус шесть или семь, она лучше меня видела не только город, но и людей.

– Смотри, какой дядя, – толкала она меня в трамвае, требуя, чтобы я немедленно обернулся и посмотрел.

– Сейчас, – обещал я и, выбрав удобную минуту, оборачивался.

– Он похож на кота-плаксу, – говорила она. – Помнишь такой мультфильм?

Одно время она собиралась стать художником-мультипликатором, придумала даже своего собственного героя – весельчака Макузу. Макуза был помесью кота с человеком и отличался неисчерпаемым оптимизмом. Когда мы прощались на несколько дней, а то и недель, она дарила мне очередного Макузу. Все Макузы улыбались.

На настырную, с рюкзаком за плечами бабку, приехавшую в город за продуктами, говорила:

– Смотри, смотри – бабка-парашютистка. Из деревенского десанта.

Она постоянно оборачивалась на кошек и собак или вдруг хватала меня за рукав:

– Смотри, пролетела птица с такими грязными ногами...

– Какая птица? – прыскал я.

– Я не заметила. Большая... Ворона, наверно. Почистила себя клювом – под перьями, под крыльями... А про ноги забыла. Вот и грязные. Почему она их не убирает, как самолет?

– Ой, послушай, послушай! – теребила она меня, улыбаясь во весь рот. – Однажды я видела двух ворон. Они ругались. Они сидели на земле и страшно ругались. Он ей говорит: «Дура ты, дура!» А она даже не обижается и боком так от него отходит, скрестным шагом... А он за ней: «Дура ты, дура старая!» А она все равно умнее. Она не достаивает его взглядом. Она молча с ним ругается. А его от этого только разбирает. Ему хочется покаркать, а она молчит. Она его молча презирует. И он уже не знает, что ему еще сказать. Ему вроде бы уже скучно твердить одно и то же. Потому что получается, что он сам дурак. И тут, пока он соображает, что ему делать, она вдруг разворачивается в его сторону и как клюнет его своим толстым клювом, как клюнет! А он как отскочит от нее. Он подсказывает, чтобы взлететь, а у него не получается. От испуга забыл, как летать. Наконец кое-как, боком, захлопал и поднялся. Еле поднялся... А я одна, представляешь? Я одна это видела, и никого рядом. Я просто умираю от смеха, и не с кем было поделиться. Раньше я совсем была одна, и меня мучило, что все, что я вижу, мне некому рассказать.

Но мы и сами бывали смешной парочкой. Так что вся улица оборачивалась. И все из-за Улиткиного вида. Как она одевалась! Она избегала того, что модно, а если и носила, то страдала от «собственного жлобства». Одежда ее представляла смесь ретро с авангардом. Юбки у нее были условные даже для эпохи «мини». Попросить ее одеться поскромнее, посдержаннее было нельзя – это тоже было бы воспринято как жлобство. Помню, в последних числах холодного марта, когда мы отправились на вечер балета в Мариинский театр, она выглядела так: трико изумрудного цвета, поверх трико на ногах сетчатые колготки – к трико в шкафу у нее ничего не нашлось, так как накануне она отдала все свои тряпки одной сорокалетней подружке, которая в роли невесты должна была предстать перед родителями своего жениха. Я было заикнулся, что можно было бы и объяснить подружке, что мы идем на балет, но Улитка возразила:

– Она бедная, она несчастная, она некрасивая. Она думает, что если все это наденет, то станет красивой. Я не могу ей отказать. А мне... мне ничего не нужно – я всегда найду, в чем пойти.

И поверх трико она надела пиджак малинового цвета, накинула подарок бабушки – лису, длиннющую чернубурку, которой, она уверяла, по меньшей мере лет пятьдесят, и потому она источает тепло. Все старые, точнее – старинные, вещи для нее источали тепло. Она считала, что, пожив в прошлом, они навсегда впивались в себя бывшую жизнь. Новые вещи были для нее мертвы. На ногах у нее были черные полусапожки-полуботинки, сшитые на заказ. Признаться, мне пришлось набрать в легкие воздуху, когда мы вышли с ней на улицу, хотя на ее уверенное: «Ну как?» – я сказал: «Отлично!»

Я доверял ее вкусу и принимал в любом наряде, но я знал, что улица этого не примет. Однако Улитке на улицу было наплевать. Ради улицы она не поступилась бы ни одной из своих привычек. Высматривая такси, мы дошли до перекрестка, и все его углы как бы остолбенели. Я видел, как люди толкают друг друга и поводят подбородками в нашу сторону. Молодежь просто оборачивалась, мужчины смотрели, а тетки рвались в бой. Но рядом был я. Они глазели сначала на Улитку, а потом замечали, что она не одна, и мой вид сбивал их с толку: как-никак я тянул на «солидняка», а «солидняк» знает, с кем выходить на улицу. Тетки крепились, но чувства их как сажа и пепел носились над их головами. Вражда к не такому, как все, – видом ли, мыслями – так долго у нас культивировалась, что жить ей еще и жить. На пути к перекрестку нам пришлось миновать компанию подростков-рокеров на мотоциклах. Я принапрягся, готовый к разборке, но подростки лишь проводили нас дружным молчаливым взглядом. Вот первое поколение терпимых. Их девиз – «Мы вас не трогаем, и вы нас не троньте» – кое-что да значил.

Ходили мы и в кино. В кинозале Улитка наклонялась ко мне, спрашивала, глядя на экран своими большими невидящими глазами:

– Что это за тетка?

– Это звезда, Сара Монтель. Помнишь, «Королева Шантеклера»?

– Неужели это она?

– Она.

– У нее жуткое туловище. И крестьянские руки. И спина как у лошади. Только лицо красивое...

Если даже фильм был совсем никуда, она все равно находила в нем что-нибудь забавное. Образования ей явно не хватало, но интуиция ей была дана из первых рук – прямо от Бога. Не помню случая, чтобы она клюнула на какую-нибудь туфту. Судила она жестче меня и менее была склонна прощать творцам их слабости.

– Он же художник, – говорила она, – он не имеет права потакать толпе.

На мой взгляд, работала она мало. Когда я говорил ей о фанатизме, об одержимости таланта, она отрицательно мотала головой:

– Нет, нет. Зачем?

– Но твой Врубель работал до иступления. Твой Ван-Гог...

– Потому они рано и умерли. Ленъ – это спасение. На самом деле это даже не лень. Я вот все время думаю. Тебе кажется, что я болтаю, суечусь, вишу на телефоне... А я думаю. Не напрягай меня, я чувствую, что ты начинаешь на меня давить. Я тогда еще больше суечусь, и толку мало... Ты ведь знаешь, я и без того суетное существо.

Картины у нее «доходили» – незаконченные, они висели месяц, два – и вдруг двигались дальше, то есть я вдруг замечал, что в них углубились, оказались прописанными новых два-три квадратных сантиметра. Она загоралась не от чувства, а от идеи, а это долгий путь. Я же норовил убрать подальше брошенный ею холст, где глаз радовал какой-нибудь живой кусок.

Лучшую свою картину она написала без меня и назвала «Чаепитие с китайским чайником». Улитка считала ее сюрреалистической, как и все, что она делала, но по мне это был реализм, как я его понимал. Улитка не мистифицировала, не занималась шаманством – она рассказывала о себе, а рассказ рассчитан на слушателя, то бишь, на зрителя, – иначе зачем рассказывать? Картина раскручивалась по часовой стрелке от пупка – пупок обнаженной героини был центром. Сама героиня, естественно, была одним из Улиткиных взглядов на самое себя. В правой, гордой, согнутой в локте руке героиня держала на тонких извилистых пальцах блюдце с чаем. Сама она парила над или, точнее, за столом, как в балетном прыжке, подобрав под себя левую ногу, а нежно написанный пах и едва обозначенное лоно, похожее на вытянутую каплю, млели, истаявали в накаленном оранжевом сиянии. Справа от героини стоял китайский фарфоровый чайник в виде мужской головы с бледным одутловатым лицом, как будто уже виденным мною, – крышка от чайника была взвешена в другой руке героини, а изнутри катились клубы пара, полные видений. За героиней торчали горбыли забора, как в глубинке, и из его умбры проступали одно над другим два зверских сатанинских лица, третье же лицо было страдальческим лицом гуманиста, художника... впрочем, это могли быть три лица одного человека; а перед героиней на столе, на большом круглом блюде, лежали две головы, вернее, одна голова – лошади – отрубленная, но живая, с глазами, полными боли и ужаса: лошадь смотрела на собственный череп рядом. Были там еще какие-то призраки, и змеиная шея то ли лебедя, то ли павлина, то ли гуся, держащего в клюве яблоко. Но главным, если считать, что глаза лошади не главное, – главным было все-таки лицо героини, очень похожее на Улиткино, но, как всегда, с пустыми глазницами. Не было и правой щеки, а был скол ее, будто то было не живое тело, а его глиняное, полое внутри подобие, кукла... но и там пылало то же оранжевое сжигающее пламя, заполняя и полости глазниц.

Так я пытаюсь описать образы картины, но как мне передать впечатление от нее, впечатление пройденного пути и утвержденного духа, впечатление преодоленного страдания и мужественного жеста? «Да, я так живу, – говорила ее героиня. – Это больно и мучительно, и хотя я очень боюсь боли, я сильнее ее...»

Другую свою картину она писала на моих глазах, так и не дописав... Она набросала композицию, которая, по ее утверждению, давно созрела в ней, не только созрела, но и мучила ее, однако после двух часов работы отложила кисти, с тоской посмотрела на холст и, взяв тряпку, о которую вытирают кисти, смазала написанное.

– Что ты делаешь?! – подскочил я. Мне нравилось, как она начала.

– Не то, не то! – простонала она.

Но стирала она не все подряд, а то, что меньше всего ее устраивало, стирала так, что после тряпки оставались странные разводы. Потом она сидела и вглядывалась в них.

– Смотри, – оживилась она, – вот женщина... Видишь ее фигуру? – и кистью показала женщину. – А вот еще одна. Только взгляд от нее. Смотри – вот ее глаза. А сзади чудовище... это монстр... он ее преследует... он хочет объясниться в любви. Видишь – рука его прижата к сердцу... А вот корабль. Нет, два корабля. А это... смотри, какой тут замечательный старик! Они все спешат куда-то, а ему все равно. Он отвернулся. Он знает, что все это суета. Он отвернулся от них и смотрит на нас.

– Это похоже на Ватто, на «Путешествие на остров Цитеры», – сказал я.

– Может быть. Но только чуть-чуть. У меня совсем другое. А вон там на краю мола стоит он – это, наверно, Христос. Как мера всего. Ему жалко их всех, в том числе и старика...

Так я тогда и не понял, что это было. Импровизация, возникшая из ничего, из нескольких ходов тряпки, что переплели первоначальных участников узлами новой интриги?

– А это что? – спрашивал я, показывая на гигантский цветок, огромный бутон, похожий на головку чеснока с плотно упакованными дольками-лепестками, из которых самые нижние превращались в черепа.

– Я все время вижу его во сне, этот цветок, он вырастает из волны и раскрывается, раскрывается... сотнями лепестков, по стеблю из воды он втягивает в себя жизнь и рассыпается на тысячи других жизней, а внизу они умирают... Ведь, знаешь, в каждом расцветшем бутоне есть сторона жизни и сторона смерти.

Но все это пока были лишь поиски в потемках, наугад. Ей был всего двадцать один год, и она не спешила, она была уверена, что все придет в свой час.

Я шутил, что стать настоящей художницей ей мешают ее ноги. Она никогда о них не забывала. Но и живопись не отпускала ее ни на миг. Даже в постели. Улитка жаловалась, что живопись мешает ей в любви, не дает расслабиться, тянет за собой, когда Улитке хотелось бы совсем в другую сторону. Чувственный импульс у нее шел через голову – для страсти она нуждалась в сильном впечатлении. А чтобы творить, ей были нужны экстремальные обстоятельства. Она должна была быть голодной, в комнате должен был быть кавардак, гонимась и какая-нибудь крупная ссора с нужным человеком – вот тогда она работала от зари до зари. Благополучие, порядок ее угнетали. Чтобы вызвать творческий дух, надо было перекрыть кислород. Так и в любви. Чувство, чтобы разогреться, нуждалось в препятствиях. Ее подстегивала опасность, и, сказав по телефону приятелю-реставратору, чтобы тот брал такси и немедленно приезжал с ее отреставрированными стульями, она вдруг брала меня за руку и вела к постели. «Хочу к тебе. Хочу быть в платье». А потом говорила: «Как тепло... ты согрел меня изнутри. А платье, оно, знаешь, такое... оно меня возбуждало». Она была изощрена гораздо больше меня, несмотря на небольшой любовный опыт и на прохладность, которая еще не отступила в ней.

– Ты пробуждаешь во мне женщину, – говорила она. – Когда ты ее совсем разбудишь... – и повторяла: – У тебя нет конкурентов.

Вместо конкурентов были ее многочисленные приятели, некоторые даже старше меня. Из старших выделялся некто Дима, тот самый долговязый ее спутник на Университетской набережной, где мы случайно встретились. Специальность у него была скучная – чуть ли не инженер холодильной промышленности. Видно, он так там намерзся в молодости, что до сих пор никак не мог отогреться, и потому превратился в тихого алкоголика, служа лаборантом в одной из наших университетских лабораторий. Но это была лишь вывеска, потому что на самом-то деле Дима был миллионером. Как многие другие итээровцы с головой на плечах, он давно уже понял, что вкалывать за убогую инженерскую зарплату – это профанация всего доброго и вечного, к чему стремилась его замерзающая душа, а поскольку ко времени прозрения в нем неожиданно прорезалось и что-то вроде таланта, или, скажем, склонности, которую можно было бы назвать «вкусом к старине», то Дима и занялся коллекционированием, которое вскоре позволило ему освободиться от бремени пустопорожного инженерства. Теперь у Димы была одна из самых крупных в городе частных коллекций интерьера Петровской эпохи. Мне дозволено было побывать в этом интерьере, и я был впечатлен. Впечатляло и то, что интерьер существовал не для отстраненного любования, а был средой Диминого обитания, Диминого и нескольких его друзей, включая Улитку. Самой новой вещи там было не менее двухсот пятидесяти лет, но вглубь можно было забраться еще на два-три века, потому что, как справедливо утверждал Дима, Петровская эпоха при всей своей тяге к тому, что сегодня мы называем словом «перестройка», охотно вбирала в себя из прошлого то, что было наработано в других культурах, ну, скажем, вот этот венецианский деревянный стол из шестнадцатого века, на львиных ножках, с маскаронами и прочими резными деталями. Стол по причине своей неразъемной монументальности благополучно пережил суровые блокадные зимы в одной из коммуналок, куда он затесался из постреволюционных общественных фондов, возникших при экспроприации убранства дворцов и особняков.

...Все там было настоящее. В званые вечера гости сидели на петровских стульях, и долгий весенний свет стоял не в окне, а во вправленном в раму окна флорентийском витраже. Да, по отечественным меркам Дима был богат, но оставался несчастен. Для несчастья было несколько причин, и одна из них – та же коллекция, предмет его гордости, знак его статуса. Коллекция была смыслом и целью его жизни, но, как всякая материальная цель, она, будучи достигнутой, вдруг как бы перестала греть. Вдруг обнаружилось, что мечты больше нет, а вместо былой сладкой дрожи собирания осталась только привычка менять одно на другое, хорошее на лучшее; обмен, конечно, увеличивал сумму на сберкнижках и доход с суммы, на что Дима и жил, как рантье, но для человека искусства, каковым Дима давно себя считал, этого, конечно, было мало. Времени же и сил, чтобы приподнять еще какой-нибудь золотиносный пласт прошлого, уже не оставалось. И все реже и реже Дима бывал трезвым.

Видимо, богатство пришло все-таки слишком поздно и никоим образом не повлияло на фантастическую Диминову скупость, оправданную разве что нищим голодным студенчеством и блокадным детством, – в быту он по-прежнему побирался, в компании в минуту платежа никогда не вынимал кошелек и предпочитал залезть в долги, чем в сберкнижку. Долги он, правда, отдавал.

Для выгодной перепродажи или обмена он пользовался разными приемами: ну, скажем, он ставил вещь, которую собирался сплавить, в свой интерьер и приглашал покупателя. В Димином интерьере любая вещь играла. Или же – приобретенное по дешевке он отдавал на реставрацию. Главным его реставратором была Улитка. Она работала или за спасибо, точнее, за право быть в Димином кругу, или за крохи с барского Диминого стола. Но и у нее была своя корысть – научиться у Димы тайнам профессии. Она прекрасно понимала, что Дима на ней наживаетеся, но мирилась с этим, терпеливо ожидая, когда придет ее собственный час. И все-таки приходилось держать с ним ухо остро, так как у Димы всегда была тысяча способов ее надуть. Скажем, когда Улитка уже заканчивала реставрацию очередной вещицы, он звонил ей и провоцировал ссору, ожидая, пока Улитка не крикнет в сердцах: «Дима, забирай свое барахло! Не хочу тебя больше знать!» Он тут же прикатывал и забирал свое – оскорбленно и... бесплатно, а затем, через неделю, зная отходчивость Улитки, звонил с очередной приманкой. Иногда эти сцены происходили на моих глазах.

– Да я все понимаю! – останавливала меня Улитка, когда я пытался вразумить ее. – Дима жлоб и жлобом умрет. И мне жалко, что он такой жлоб. Он, конечно, страдает от жадности, но еще больше он страдает, что я не такая, как он. Он был бы счастлив узнать, что я его тоже надула. В глубине души он считает себя лучше всех. Но я ему все прощаю, потому что он талантлив, он считается одним из самых талантливых ленинградских коллекционеров.

Я не очень понимал, что в данном случае вкладывалось в понятие «талант», – не способность же делать деньги буквально из ничего, из содержимого ленинградских помоек. Нет и нет. Ведь получалось, что он, Дима, возвращает этому содержимому прежнее, давно изжитое жизнью значение, соединяет это изжитое в цепочку, которой огораживает лоскуток пространства, где будто сами собой вдруг начинали оживать тени давно минувшего...

В университетской лаборатории Дима, естественно, только числился. За него его обязанности исполнял кто-то другой, Дима же проводил свободное от коллекционирования время в барах. Начиная с плавучего «Паруса» возле Петропавловки, потому что жил неподалеку, затем троллейбус переносил его на Невский, где Дима спускался в бар Дома журналиста, а затем поднимался в буфет ВТО, каждое из этих мест отмечая двумя-тремя порциями коньяка, так что к «Сайгону» он уже подходил в приподнятом состоянии, где и «снял» время от времени девочек; в его вкусе были пятнадцатилетние, и он хвастался перед Улиткой и этой своей коллекцией.

– Ему не нужны девочки, – смеялась Улитка, – он импотент.

IX

У нее была мечта – говорящий попугай. «Когда ты поедешь за границу, обязательно привези мне». Но ждать было долго, поэтому она заявила, что хочет не попугая, а лемура, и тут же нарисовала его, благо художница. Затем идея слишком уж «гуманоидного» лемура сменилась мечтой о лисенке, которого она сама воспитает, и я, втайне не разделяя ее желания иметь друга, кроме меня, мрачно сказал:

– Его растерзают собаки.

– Почему? Я буду держать его в квартире, а прогуливать на поводке.

– Все равно растерзают – ты даже не успеешь оглянуться. Зачем его мучить? Лис должен жить в лесу. Заведи лучше собаку.

– Собаки – они слишком преданные, они рабы. Они зависят от человека, а лиса независимая, – и моя подружка тут же нарисовала независимую лису. Лиса была женского рода, чтобы я не ревновал.

– Кошки тоже независимые, – сказал я, но она только покачала головой. И вдруг, вся просияв, заявила: – Я придумала! Мне нужно просто купить три чучела: попугая, лисы и лемура. Ты не знаешь, где их можно купить?

Но и тут я остался верен себе и пробурчал:

– Зачем? Одно чучело у тебя уже есть.

Идея иметь при себе постоянное, верное, но безответное существо, на роль которого не годились ни я, ни ее деловые приятели-коллекционеры, ни часто меняющиеся подружки, однажды воплотилась в лягушачьей парочке. Я пришел как раз, когда Улитка готовила жилье для своих новых холонокровных друзей. Жилье представляло собой огромный горшок из толстого прозрачного зеленоватого стекла, внутри горшка стояла наполненная водой одна из Улиткиных самодельных вазочек в стиле модерн, выкрашенная ярко-зеленой нитрокраской; возле вазочки, видимо для интерьера, Улитка положила огурец, разрезанный вдоль. Огурец был молодой и пупырчатый и походил на дальнего родственника новоселов.

– Только я пока не могу брать их в руки, – пожаловалась она. – Помоги мне. Осторожней! Они ужасно прыгают. Самец у меня уже выпрыгнул на сковородку, хорошо, что я ничего не готовила.

Я перенес холодных противных лягушек из пол-литровой банки в стеклянный горшок, и Улитка торопливо накрыла его альбомом Тинторетто. Она хотела накрыть куском оконного стекла, чтобы все видеть, но я боялся, что она обязательно поранится по близорукости, и настоял на безопасной крышке.

– Ладно, – уступила она, что бывало редко. – Пусть приобщаются к искусству.

Я уже не спрашивал, зачем вся эта затея, и не призывал к ответственности за земноводных. Я не был уверен, что мы несем моральную ответственность за тех, кого нельзя приручить. К тому же Улитка объяснила, что взяла их по протекции Димы из университетской лаборатории, где над ними проводят всякие мерзкие опыты и где лаборанты в обед готовят себе на спиртовках жаркое из лягушачьих лапок.

На следующий день она мне пожаловалась:

– Он ее не отпускает. Он сидит на ней и не отпускает. Я хочу его снять, а он сердится и пихается задними лапами.

– Не мешай, – сказал я. – У них любовь. Он ее любит.

– Разве так любят?! Он чуть не задушил ее, бедную. Он же ничего не делает, он просто сидит на ней и никого не подпускает. Собственник... Она красивая, она мне нравится. А он черный, противный.

– Только не мешай им, – сказал я с неопределенной верой в природный разум. – Он ее отпустит, когда нужно.

Но и еще через день самец продолжал упорно держать подругу в своих объятиях.

– Если ты не приедешь и не поможешь, – захныкала Улитка, – она умрет. Она уже совсем высохла. Он же не дает ей принять ванну. И накормить их надо...

Я приехал, глянул за стекло – и в самом деле самочка, более светлой расцветки, чем самец, с миндалевидным разрезом глаз, выглядела странно: кожа ее сморщилась, а пупырышки ссохлись в крупинки соли. Она часто дышала.

– Вот видишь, – сказала Улитка. – Я бы сама взяла, но я пока не могу их брать в руки. Ты меня должен научить.

– Ладно, – сказал я, будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за лягушками, и, сняв Тинторетто, решительно взял самца за холодную мерзкую спину. Он тут же вякнул и лягнулся. Передние его лапки плотно обнимали самку под мышками.

– Он не хочет ее отпускать... – проныла Улитка. – Если бы я знала, я взяла бы только ее. Она такая красивая, тихая, умная. А он урод.

– Сейчас отпустит, – сказал я, начиная сердиться на сексуального уroda.

Самец снова недовольно квакнул, а скорее хрюкнул – звук был странным в солнечной Улиткиной комнате – и задние лягушачьи лапки поочередно торкнулись мне в ладонь. Я ухватил за одну из них и потянул из горшка. Я думал, что он тут же отпустит свою милую, но он продолжал мертвой хваткой держать ее, так что для надежности мне пришлось ухватить и вторую его лапку.

– Ой, как смешно! – закричала Улитка.

И в самом деле, было смешно, а может, страшно. Лягушки висели в воздухе – одна вверх, другая вниз ногами, сцепленные объятием, и походили на людей в минуту крайней, смертельной

опасности. Казалось, самочке уже было все равно, настолько она устала и потеряла интерес к жизни за минувшие два дня неподвижности, но самец, хотя теперь он молчал, понимая, что криком делу не поможешь, продолжал держать свою подругу так, будто иначе мир должен был рухнуть.

– Подожди, я сфотографирую, – сказала Улитка и побежала за фотоаппаратом.

Но я не мог ждать – вид их был мне невыносим, и я стал окунать лягушек в вазочку, где Улитка устроила для них бассейн, в котором они почему-то не захотели плавать. Я окунал и поднимал и снова окунал, сдерживая подкатывающий ком тошноты, и вдруг самец отчаянно заверещал и остался висеть один, а самочка плюхнулась в воду и тут же вылезла из нее, то ли благодаря меня за свое освобождение, то ли ненавидя за него.

После этого прошел и час, и два, а лягушки теперь сидели порознь.

– Вот видишь, он и сам рад, что от нее отделался, – сказала Улитка. – У него просто был комплекс. Он только корчил из себя мужчину. Зациклился.

– Похоже на правду, – сказал я.

– Теперь их надо покормить. С руки.

– Что, они сами не могут поесть?

– Они реагируют только на движущуюся цель. Им надо открыть рот и затолкать кусочек мяса. Этого им хватит на неделю. Ты мне поможешь? Ну, лягушечка, скажи «а...»

Непросто было держать одной рукой скользкое тельце, держать так, чтобы не придавить, а другой, точнее – ногтем указательного пальца, пытаться открыть лягушачий рот. Молча, со стиснутыми зубами, они выталкивали себя на свободу, упираясь в руку передними лапками, и, похоже, были готовы скорее умереть с голоду, чем сказать элементарнейшее «а».

– Только не поломай им челюсти. Вообще-то нужен пинцет, но у меня нет пинцета...

Кое– как мы запихали той и другой за наждачную дужку зубов по крохе мяса, посадили в горшок и снова накрыли альбомом Тинторетто. Лягушки сидели за стеклом на задних лапках, высоко подняв головы, будто изучали репродукцию на обложке «Спасение Арсенои», и вроде выглядели хорошо, словно разделяя древний девиз соотечественников плененной царицы: «Хлеба и зрелищ!».

– Приходи, – позвонила через два дня Улитка. – Поможешь мне их вымыть. Они тут весь горшок испачкали.

– Это икра, – сказал я, исследовав содержимое горшка. – Это лягушачья икра. Теперь у тебя будет тысяча головастиков.

– Головастиков не хочу, – сказала Улитка, – надо это выбросить. Неужели это икра? И все из самочки? Когда они успели?

– Если б не мы, она бы еще наметала тебе икры.

– Нет уж, спасибо. Ну, поддержи же их, пока я выброшу эту гадость.

– Ты влезла в их жизнь, – сказал я, – так принимай их законы.

– Нет, – покачала головой Улитка, – я вообще решила его отсадить. Или бросить в канал. Он ей не нужен.

– В канале он не выживет, – сказал я.

– Все равно, – пожала она плечом.

Мы очистили горшок от икры, в вазочку налили свежей воды, пересадили помытых земноводных, прикрыли альбомом, где нагая Арсеноя в объятиях железного рыцаря напоминала недавнюю сцену из лягушачьей жизни. Видно, мы оставили слишком большой зазор для притока воздуха, и самец под впечатлением от услышанного сбежал. Когда именно он сбежал, мы не заметили. Только уходя, я обнаружил, что в горшке одна самочка.

– А ну его, – отмахнулась Улитка. – Не ищи. Пусть ползает где хочет.

Но тут под шкафом, где были свалены вороха бумаги с рисунками, раздался шелест, и я понял, что это самец. Там я его и выловил. Был он в пыли и паутине, но глаза его лихорадочно блестели, и в горшок возвращаться он не хотел.

Когда я пришел снова, Улитка сказала:

– Знаешь, она умерла... Не понимаю почему. Я их рассадил. Он у меня сидел в банке, в туалете, а она в горшке. Я постелила ей травы и листьев. Ей было хорошо. А вчера ночью я рисовала, и вдруг будто кто меня позвал. Я подошла – а она лежит мертвая и смотрит полуприкрытым глазом. И тут еще почему-то свет выключили. Какие-то тени с улицы, шорохи, и она мертвая. Мне стало так страшно... Ну почему она умерла?

Провожала она меня с самцом в руке – как и обещала, она научилась брать в руки лягушек – и на ее лице было странное выражение детской жестокости, когда, скажем, дети отрывают у мухи крылышки.

«Ты ведь меня знаешь – я и мухи не обижу».

Как и намеревалась, она спустила самца в канал, не спросил в какой, скорее всего, в Мойку, так как она неподалеку зарабатывала на своих портретах, и лягушиный друг поплыл в холодных осенних водах навстречу своей студеной судьбе, а я, не знаю почему, не мог забыть эту историю.

Вскоре после этого, поздно вечером, раздался телефонный звонок и голос Улитки в трубке сказал:

– Ты можешь сейчас приехать?

– Да, – сказал я.

– Приезжай, пожалуйста. Я получила от отца телеграмму – бабушка умерла.

В тот вечер я понял, что все-таки плохо знал Улитку. Первые слова, которыми она встретила меня, открыв дверь, меня поразили:

– Не волнуйся. Уже все хорошо. Я справилась с собой. Я знаю, бабушке было бы тяжело видеть мои слезы. Давай пить чай, чайник сейчас закипит.

Только говорила она больше обычного, больше и торопливей, словно боясь паузы молчания, чтобы та не поглотила ее.

– Оставайся сегодня со мной, – сказала она, и я остался.

В постели она стала целовать меня, и мы любили друг друга. И только в середине ночи я проснулся оттого, что она вдруг отчаянно прижалась ко мне и я ощутил щекой, что ее лицо мокро от слез.

– Мне страшно, – сказала она.

Х

А потом я уехал в командировку на Север по своим музейным делам. Она ждала отца, и я был за нее спокоен. На похороны она не ездила, и я ее понимал – ей хотелось, чтобы в памяти бабушка

оставалась живой. Командировка была долгой – целых полтора месяца, и я посылал письма с Соловков и из Архангельска, из Холмогор и Верколы, из Карпогор и Каргополя. По пути с Соловков наш «Юшар» попал в шестибалльный шторм, а по материку уже шла зимняя поземка – обо всем этом я писал Улитке, и еще – о церквах, вернее об остовах, каменных и деревянных, я писал об ободранном иконостасе в соборе напротив Верколы и о сумасшедшем доме в бывшем мужском Красногорском монастыре близ Архангельского биозаповедника, где в 1714 году кончил свои дни опальный князь Василий Голицын, любовник царицы Софьи, светлая голова. Впрочем, от монастыря там остались только стены собора шестнадцатого века, а сумасшедшие – это был женский сумасшедший дом – жили в бараках; однако я избегал мрачных красок, шутил по поводу и без повода и трагедию старался подменить лирикой. Я как мог развлекал Улитку на расстоянии, считая, что больше других могу ее поддержать. Только два раза мне удалось ей позвонить, она сказала, что болеет, что у нее воспаление легких, но от больницы она отказалась. Первый раз трубку поднял ее отец, второй раз – уже она сама, говорила бесстрастно, потухшим голосом, но успокоила, сказала, что о ней тут заботятся и она уже идет на поправку. И все-таки волна безнадежности вдруг окатила меня, и я спросил то, что не следовало спрашивать:

– Ты меня любишь?

И, поскольку она не спешила с ответом, задал вопрос полегче:

– Ты хоть скучаешь обо мне?

– Знаешь, я как-то отвыкла от тебя, – честно сказала она. Она всегда старалась говорить то, что у нее на уме и на сердце. – Но ты приезжай. Когда ты приедешь?

– Скоро, – сказал я, полный смутной тревоги.

– Хорошо, – сказала она. – Ты меня прости, у меня тут как раз врач...

– Что ж ты сразу не сказала?

– Ну... ты звонишь издалека.

Я вернулся через две недели после звонка. Был конец ноября, и Ленинград тоже покрылся снегом. Только на Севере снег был чище. Я хотел сразу поехать к ней, но она сказала по телефону:

– Лучше приходи ко мне на работу.

– Разве ты работаешь? – удивился я.

– Да, – сказала она. – Третий день. Дима устроил в универе, в лабораторию. Не рисовать же на улице...

Досконально изучив за пять лет катакомбы филфака, я и не подозревал об этой, всего через двор, лаборатории кафедры физиологии высших животных. Я прошел через здание филфака, которое некогда было дворцом, а теперь походило на захламленное складское помещение, на кладовку, куда свалили за ненадобностью нежные гуманитарные науки, вышел во двор и нырнул под арку. Приходил я сюда редко, не чаще раза в год и только по делу, и ничего во мне не вздрагивало, и не хотелось заново стать студентом, и мои обрюзгшие, оплешивевшие сокурсники, превратившиеся в солидных преподавателей, были мне столь же неинтересны, сколь и я им. О своей молодости я здесь никогда не вспоминал.

Улитка ждала меня.

– Здравствуй, – сдержанно улыбнувшись, шагнула она ко мне, и я обнял ее. Но объятие наше вышло спокойным, и я подумал: в самом деле, как быстро мы отвыкаем друг от друга. Хотя от прикосновения к ней, от знакомого ее запаха у меня закружилась голова, и мне понадобилось усилие, чтобы не выдать себя. Сдержанность в чувствах – стиль нынешней молодежи, и я не рискнул выглядеть старомодно.

Улитка будто поблекла за нашу разлуку, ее медные с позолотой волосы грустно распрямились, большие близорукие бирюзовые глаза смотрели не в свою сумасшедшую даль, а просто перед собой, будто что-то утратилось, и в движениях ее, обычно легких, порывистых, появилась какая-то неуверенность; улыбка на смуглом азиатском лице выглядела виноватой, а ямки в уголках своенравных губ стали глубже и затемненней, как у горько затаившегося человека. И все же это была она, эльфическая, бестелесная и телесная, одинокий белый зонтик с головы одуванчика, тычинка, летящая по воле ветра неведомо куда, шурясь на солнечные небеса.

– Подожди меня, – сказала она, – я скоро освобожусь.

Рядом за стеной раздавался безнадежный собачий лай.

– Что ты тут делаешь?

– Кормлю кошек и собак. А еще белых мышей. Знаешь, мне с ними легче, чем с людьми. Они добрые, беспомощные, они не умеют обижать.

– Зато вы их обижаете. Ты их кормишь, а потом им отрезают головы...

– Я этого не вижу...

Строго говоря, это была не лаборатория, а лишь ее подсобная служба: кормокухня, дежурка – три маленькие кривые комнатенки, да еще где-то там тюрьма. В первой комнатухе, кроме холодильника и стеклянных шкафов, была клетка с волнистыми попугайчиками. Во второй – газовая плита, на которой стояла большая кастрюля с рисовой кашей для кошек. Меня Улитка посадила на стол в третьей комнатухе. На столе была амбарная книга. В книгу заносился приход и расход собак, мышей и кошек. Животные выдавались по заявкам с подписями и печатью. Справа от меня было окно, веющее холодом, за ним уже стягивались сумерки, а передо мной – дверь, за которой возилась возле плиты Улитка. Она варила кашу, добавляя концентрированное баночное молоко. Через дверь мы и разговаривали.

– Тетки сгущенку домой уносят, а я даю двойную порцию, нечего у кошек красть... Ой, знаешь, а от мышей можно подхватить чуму. Они кусаются, одного нашего сотрудника укусила чумная мышь. А еще можно заразиться, если на руках есть ссадины. Меня тоже чуть не укусила мышь. Но я сразу протерла пальцы перекисью водорода. Надеюсь, ничего не будет. А знаешь, – со знакомой звонкой интонацией радостного возбуждения сказала она, – они такие умные! Они все понимают. Они чувствуют человека, его характер, настроение. Если их боишься, они сразу это чувствуют и становятся агрессивными. Из клетки их надо брать только за хвост. Если берешь решительно, они не дергаются, они покорно висят вниз головой и не возникают. А если ты не в себе – обязательно укусят. А собаки... они все время лают, они тоже все чувствуют. Они понимают, что ничего хорошего их не ждет.

– По-моему, это совсем не то, чего ты хотела...

– Да... но я их жалею. Кормлю... На меня они не лают.

– Это совсем не то, – сказал я, будто теперь она посягала не только на свои недавние планы, но и на мои в придачу.

– А, неважно, то или не то... – поморщившись, тряхнула она головой, будто вдруг согласившись, что мечты мечтами, а жизнь жизнью. Казалось, она хотела вернуть меня туда, откуда сама же и увела.

Тем временем каша сварилась, и Улитка перевалила ее из кастрюли в большой алюминиевый таз.

– Хочешь посмотреть на моих бедных кошек?

Я покачал головой.

– Почему?

– Они прооперированные, в бинтах?

– Да, есть несколько...

– Не хочу.

– Бедный, у тебя слабые нервы. Фу, какая горячая! Надо остудить. Ты можешь пока вынести ее на крыльцо. А я отнесу мяса собакам.

– А собаки здоровые?

– Здоровые.

– Я схожу вместе с тобой.

Собаки сидели по большим клеткам, где можно было разместить и тигров. Собак было пять, крупных дворняг разного возраста и неясной масти. Увидев нас, они еще пуще залаяли, жалуясь на свой удел и в то же время понимая, что мы им не поможем. Улитка просунула между толстыми прутьями клетки по кости с мясом, и собаки, даже не повиляв в благодарность хвостом, как-то обреченно принялись за еду.

– Давай их выпустим, – сказал я. – Пусть бегут...

– Зима... Они умрут с голоду.

– Не умерли же до сих пор. Вон какой старый пес. Выпусти. Свобода дороже.

– Им не нужна свобода. А меня уволят. Мне нужно работать.

Старый пегий кобель с напрягшимся красным мужским органом даже есть не хотел. Тревога за свою жизнь была в нем сильнее голода, и он просительно побрехивал в нашу сторону, словно понимая, о чем разговор. То и дело он вскакивал с холодного цементного пола и подбегал к решетке, и я заметил, что задние ноги его плохо слушаются.

– Как ты можешь работать в такой живодерне?

– Знаешь, – сказала Улитка, близоруко поглядев мимо меня, – мне сейчас все равно. Скорей бы зима прошла. Я хочу лета, солнца...

Наконец все были накормлены, Улитка заперла двери, но входная не запиралась, заело замок, и Улитка махнула рукой:

– А ну их! – будто оставив зверям шанс на нечаянное освобождение.

– Пойдем пешком, – сказала она, и мы пошли – сначала по двору Двенадцати коллегий, затем по набережной и через Неву по Дворцовому мосту. Дул ледяной ветер, но поверхность воды еще не схватило, и возле гранитных быков моста, быстро работая лапками против сильного течения, держалась стая уток. Кто-то, перегнувшись через перила, бросал им куски хлеба.

– Они тоже замерзнут, – вздохнула Улитка. – Никто не знает, сколько их останется к весне. Почему они, глупые, перестали улетать?

Я думал, мы пойдем к ней домой, но после «Лавки художников», что на Невском проспекте, она вдруг предложила:

– Знаешь что, ходим в кино...

Два часа мы потеряли на какую-то муру, а когда вышли в холод и тьму и отчаянный неуют нашего городского предзимья, Улитка сказала:

– Ты просто проводи меня, и все. Ладно? Я устала. Я хочу побыть одна. Мне все равно сейчас ничего нельзя.

Она следила за выражением моего лица, но я просто кивнул:

– Хорошо.

Она действительно выглядела утомленной.

– Я еле выползла из этого воспаления легких, – словно оправдываясь, сказала она. – Почти месяц...

– Ты еще при мне стала кашлять.

– Да... Все из-за улицы. Сидишь целый день в колготках...

– Я же говорил: теплей одевайся. Сколько раз говорил...

– Ты ведь знаешь – я не могу кутаться. Должно быть легко, свободно, красиво, должно быть эстетично.

– Ну да, ради эстетики можно и поболеть.

– Можно. Если бы я не смотрелась, никто бы ко мне не сел. Ты же знаешь, на художниц смотрят с недоверием – что они могут... Ой, я так противно болела. Мне очень помог один врач, приятель моей подруги. Если бы не он, я уж не знаю. Он почти каждый день ко мне приходил, я ведь плашмя лежала. Отец четыре дня побыл и смотался, а мне даже есть было нечего. А потом я стала вставать, снова рисовать стала, а врач придет и стоит за мной, смотрит, смотрит и спрашивает, почему это, почему то. Он любит живопись и сам немножко рисует. Но он типичный дилетант, не понимает, что такое тепло-холодность, их соотношения... Я рисую, а он смотрит как на чудо... Он правильно чувствует, но он хотел, чтобы я ему все объяснила. Я ему говорю – в искусстве ничего нельзя понять до конца. А он говорит: то же самое и человеческий организм. А что врачей учат лечить только тело, как будто душа ни при чем. Он интересный человек. Ему кажется, что, если он поймет законы живописи, он будет лучше лечить. Он и так хороший терапевт.

– Сколько ему лет?

– Не спрашивала. На вид лет тридцать пять.

– Хороший возраст, – сказал я, вспомнив себя в тридцать пять.

Дворик ее дома лежал в грустном снегу.

– Все, спасибо, не надо подниматься, – сказала Улитка возле лестницы. – Я тебе сама позвоню.

– Когда? – спросил я.

– Ну... – поморщилась она. – Позвоню.

– Прости, – сказал я. – Проклятая привычка к точности.

Я притянул ее к себе и прикоснулся губами к ее щеке. Улитка смотрела в сторону. Тело ее было напряженным.

Весь следующий день я напрасно бросался к телефону – к рабочему и домашнему – и вечером, не выдержав, сам позвонил:

– Ты что, совсем по мне не соскучилась?

– Почему? – тревожно ответила она. И уже спокойнее, просительней: – Ты же знаешь, сейчас мне нельзя.

– Я не об этом.

– Игнат, – сказала она, что прозвучало неожиданно, так как обычно она звала меня теплее, – Игнат, не будь занудой.

– Не буду, – сказал я. – Но ты больна, и я хочу быть рядом, хочу тебе помочь.

– Не надо мне помогать. Ты же знаешь меня. Я никогда никого ни о чем не прошу. Только в крайних случаях. Мне так легче.

– Но я твой друг, – сказал я, чувствуя, что вот-вот понесу жалкую околесицу.

– Если ты друг, ты должен понять меня.

– Разве я не понимаю? – сказал я, хотя ничего не понимал.

– Игнаша, у тебя сейчас есть дела?

– Как всегда.

– Вот и займись ими. А я... – она сделала паузу, – а я буду думать о тебе.

Утром она сама мне позвонила:

– Представляешь, вечером, только мы с тобой поговорили, приходит...

– Кто?

– Врач этот... Бороду сбрил, подстригся, наодеколонился чем-то дорогим, импортным. С цветами. И вдруг на колени – бух! Представляешь? Умолял меня стать его женой. Он ведь знал про тебя, я ему рассказывала. Он страшно боялся твоего возвращения. И вот, пожалуйста... Я, конечно, ему многим обязана – он очень помог, буквально вытащил... Но если б не он, был бы кто-нибудь другой. Я не считаю, что я ему что-то должна. Если он влюбился, это его проблема. Я так и сказала. У меня есть ты. Он знал, что я тебя жду. Я ему сказала: «Все понимаю, но извини...» А он: «Ты моя судьба, мой рок... У меня тысяча женщин, как женщина ты мне не нужна, мне нужна твоя душа». Я даже обиделась – как это «как женщина не нужна...»? А он: «Я ничего не прошу, делай что хочешь, живи как хочешь. Я буду давать тебе любые деньги, ты ни в чем не будешь нуждаться... Только твоя душа мне нужна...» Он... Он, знаешь, как дьявол. Мне даже не по себе стало. Есть в нем какая-то сила... Вот уж не ожидала такого поворота.

– Это в тебе есть сила, – сказал я. – Он это чувствует, и он в ней нуждается. Я ведь тоже нуждаюсь.

– Бедные вы мои...

– Мы сегодня встретимся?

– Да, – сказала она.

Вечер мы провели у меня. Улитка была непривычно сдержанной, как бы что-то обдумывающей.

– Ну все, мне пора, – сказала она, поднеся к своим глазам мою руку с часами.

– Ты не останешься?

– Нет. Ты же знаешь, я могу спать только у себя дома. В гостях я не выплусь. К тому же он, наверно, ждет меня...

– Кто?

– Ну, врач этот... Он вчера, когда уходил, взял у меня второй ключ. Я должна с ним разобраться.

– Я поеду с тобой.

– Я сама. Еще не хватало тебя в это впутывать. Уж как-нибудь сама разберусь.

– Оставайся у меня. Оставайся, прошу тебя! Пожалуйста... И разбираться не надо. Ты останешься у меня, и он все поймет.

– Нет, он будет ждать. Я чувствую, что он ждет на лестнице. Я поговорю с ним. Не хочу откладывать. Я поеду. Вызови мне такси.

Я вызвал такси, дал ей денег.

– Целую тебя, – сказала она, перед тем как захлопнуть дверцу. И теплая машина унесла ее.

Спал я плохо, и снилась мне всякая чертовщина.

Своим соперником я врача не чувствовал. Я все же знал Улитку. Я знал, что на чужую силу реакция у нее однозначная. Врач выбрал самую проигрышную тактику. С Улиткой это у него не пройдет. Я был спокоен за нее, хотя и был готов вмешаться. Но мне пока там нечего было делать. Она не нуждалась в моей помощи. К тому, чтобы вмешаться, меня подталкивали скорее правила игры, чем реальный повод. Врача можно было понять. Только вот ключ он взял напрасно. Это он от отчаяния. Бедняга.

– Ну как? – позвонил я утром.

– Он не приходил, – сказала Улитка. В голосе ее была досада. – Мне не нравится, что у кого-то ключ от моей квартиры...

– Я все-таки поеду бить ему физиономию. Где он работает?

– Что ты... он высокий, здоровенный... Не хочу тебя впутывать. Он вернет, я позвоню, чтобы вернулся.

– Ты уверена, что обойдешься без меня?

– Не волнуйся, Игнаша. Ты же знаешь, что я вообще никого и ничего не боюсь...

– А есть чего бояться? – голос мой прозвучал неожиданно для меня самого.

– Не знаю, есть или нет, но это мое личное дело, Игнаша.

– Мне это не нравится, – сказал я.

– Не будем об этом... Я начинаю жалеть, что тебе рассказала. Я думала, ты мудрее. А ты ревнивец...

– Я и не ревную, мне не к чему ревновать...

Но я ревновал. Я уже ревновал. Ведь ревность – это всего лишь потеря уверенности. Я подумал, что врач не так уж груб и прямолинеен. Это, кажется, был опытный соблазнитель. Паузу в их отношениях он сделал очень точно. Он заставлял думать о себе. Не ключ ему был нужен – ему было нужно протянуть между собой и Улиткой тонкую паутинную ниточку, а затем набавлять, набавлять кольца...

Я снова побывал у нее на работе, но даже к собакам не пошел. Две парочки зеленых волнистых попугайчиков, как и два дня назад, пребывали в той же радостной тусовке и, кажется, единственные не ждали от будущего ничего плохого.

– Сегодня решающий разговор, – сказала Улитка. – Я позвонила ему, он придет.

Я пошел ее провожать. По пути мы зашли в магазин и купили еды. Возле своего дома она сказала:

– Все, дальше не надо. А то он может нас увидеть...

– Ну и что?!

– Он знаешь какой ревнивый...

– Ты о чем? – опешил я.

– Людей надо жалеть, – поспешно сказала она. – Так бабушка мне говорила.

– А меня тебе не жалко?

– Я же с тобой.

– Ты уверена, что обойдешься без меня?

Вместо ответа Улитка положила руку мне на плечо, коротко прикоснулась губами к моей щеке и, подхватив сумку с продуктами, исчезла в парадной. Я остался один в стылой ноябрьской тьме, припорошенной грязноватым снегом. На душе у меня было мутно. Я пошел назад к метро тоскливыми вечерними дворами, под пятиэтажными рядами освещенных окон, и вдруг остановился. «Ты ее теряешь», – сказал во мне голос. Чувство потери – это уже было, это было, когда мы только познакомились, паническое ожидание, что с ней что-то случится, но потом это прошло. И вот... Что же делать? Ввалиться сейчас к ним? И только все испортить? Драться? Это уже из ряда вон... Последний раз я дрался из-за девушки в так называемом комсомольско-молодежном лагере. Мы оба будем ей отвратительны, и она обоих нас выгонит. Но почему он, чужак, с ней, а я здесь один в промозглой тьме? Почему с ним надо считаться, а со мной нет? Почему я должен быть великодушным? Великодушные – ловушка для простаков. «Тебя обманывают», – сказал мне голос, и теперь он почти кричал: «Тебя водят за нос, ты глуп, ты наивен, ты смешон! У тебя из-под носа уведут Улитку, а ты играешь в благородство!»

Я пошел, почти побежал обратно к дому. Я зашел с тыльной стороны, куда выходили ее окна, и поднял голову. Сначала мне показалось, что я ошибся, – ее окна были темны. Вернее, темным было кухонное окно, а в комнате мерцал, вздрагивал голубой телевизионный свет. Но это были ее окна. Они должны были быть ярко освещены, они должны были гореть огнем схватки! Странно выяснять отношения перед экраном телевизора... Может, она одна? Может, он снова не пришел? Я хотел было подняться, но какая-то сила удержала меня, толкнула в грудь, и я пошел прочь, спотыкаясь и не понимая, куда я так спешу. Передо мной оказалась телефонная будка. Я заложил две монетки и набрал номер.

Улитка сразу сняла трубку, будто ждала звонка:

– Да? – голос у нее был твердый.

– Это я, – сказал я. – Он у тебя?

– Да, – сказала она.

– Я сейчас приду, – сказал я.

– Нет, не надо, – сказала она. – Мы же договорились.

– Я так не могу, – сказал я.

– Если ты придешь, будет только хуже.

– Хуже уже некуда.

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду, что он с тобой, а я нет.

– Я же тебе все объяснила!

– Я все равно не понимаю. Я сейчас поднимусь, и мы быстренько разберемся.

– Я тебя прошу, ты слышишь, я тебя очень прошу не делать этого!

– Почему я должен тебя слушать? – спросил я ее, а скорее – самого себя.

– Все будет хорошо, – сказала она.

«Все будет хорошо», – думал я, трясаясь в порожнем вагоне глубоко под землей, или глубоко в земле, под леденеющим где-то далеко наверху ноябрьским городом.

Утром в телефонной трубке раздался ее радостный голос:

– Похвали меня. Все-таки я молодец! Я вчера одержала такую победу! Не представляешь, как это было трудно! Да... я сама себя поздравляю. В конце концов я сказала ему: «Хорошо, я буду твоей женой. А он, то есть ты, будет моим любовником». Он корчился, корчился, но я его уломала. Он согласился. Слышишь?

Ужас хлынул мне в душу. Со мной говорила сомнамбула.

– Ты понимаешь, что ты говоришь? – сказал я. – Ты отдаешь отчет своим словам?

– Конечно, – сказала она уверенно и бодро, как говорила всегда, когда была глубоко убеждена. – Ты ведь меня знаешь... Для меня жизнь – в общем, игра. Компромисс. О, я еще раз убедилась: компромисс – великое дело.

– Ты же со мной! – крикнул я. – Разве я не предлагал тебе руку?! Давай поженимся – одно твое слово, и мы поженимся!

– Зачем? Я не хочу впутывать тебя в свои дела. Ты светлый, я не хочу пользоваться тобой. Я тебя берегу. Я хорошо подумала: пусть он меня содержит, у него много денег. А любить я буду тебя.

– Это не ты... – крикнул я. – То, что ты говоришь, – страшно!

И тут она заплакала, она зарыдала. Я никогда не слышал, как она плачет. Когда умерла бабушка, она плакала молча, в ночи, сквозь мой сон.

– Что страшно?! А как я живу, не страшно?! Одна, все одна, с пятнадцати лет, все на себе, на своих плечах, как мужик! Я женщина, я хочу быть слабой! Я хочу только рисовать, и больше ничего! И пусть обо мне заботятся, пусть содержат! Я устала так жить! Я устала бороться!

– Я буду заботиться о тебе! – крикнул я. – Я сейчас приеду! Ты где, ты дома?

– Меня не будет дома! – крикнула она. – Я уйду. Я спрячусь от всех вас! Вы мне все противны! Бесконечные звонки, выяснения, угрозы. Что я вам сделала?!

– Что ты, – испугался я, – разве я угрожаю?

– И ты, и он, и еще там двое! Чтобы вы все встретились и перегрызли друг другу глотки!

– Это ты мне говоришь?! Что с тобой? Я сейчас приеду! Ты дома?

– Меня нет! Я нигде! – и в трубке раздались гудки.

Я тут же набрал ее номер – она не ответила. Я набирал и набирал, но телефон молчал.

К трем часам я поехал к ней на работу. «Она сегодня не работает», – сказали мне. Я снова набрал ее номер, но телефон намертво молчал, и я почувствовал, что ее квартира действительно пуста.

Вечером трубку сняли, и мне ответил вежливый голос мужчины. Я понял, что это он. Я взял себя в руки:

– Позовите, пожалуйста... – да, я просил его позвать к телефону мою Улитку.

– А кто ее спрашивает? – так же вежливо и спокойно осведомился голос.

– Какого черта?! – взорвался я. – Это не ваше дело, – и тут же был наказан гудками.

В ее квартире сидел человек, решивший сыграть на все, что только у него было, до конца.

Я набрал номер. Он ответил.

– Послушайте, это снова я, – сказал я. – Мне нужно поговорить с Улиткой.

– Она просила спросить, кто у телефона, – сказал голос с легким оттенком сожаления.

Скрипнув зубами, я назвался.

– Она просила передать, что не хочет с вами говорить, – вежливо, без злорадства сказал голос.

– Да?... – растерялся я и замолчал.

Голос тоже молчал в ожидании, а я видел перед собой бледное, бескровное лицо Улитки с плавающими глазами и чувствовал, что она действительно не хочет со мной говорить, и вопиющая очевидность этого никак не укладывалась в моей голове. Я молчал и, пожалуй, даже вызывал сочувствие в том, кто слышал на другом конце провода мое молчание...

– Ну, что ж, – выдавил я наконец и повесил трубку.

Ночью я проснулся от дикой, невыносимой тоски и понял, что он остался с Улиткой.

В девять утра я медленно набрал ее номер. Рука моя дрожала. Меня трясло.

– Слушаю вас, – спокойно ответил его утренний голос.

Я нажал на рычаг и засмеялся.

В четыре часа дня я подходил к ее лаборатории. Первый день декабря выдался еще холоднее вчерашнего, ноябрьского, ударил мороз, сковав город грязной ледяной коркой, и люди шли, семена по-стариковски, чтобы не упасть. Возле лаборатории меня снова стало трясти. Может, она и сейчас не одна? Но мужское лицо, сумрачно глянувшее на меня из окна лаборатории, вряд ли принадлежало моему сопернику.

– А она вышла на полчаса, – приветливо ответила мне лаборантка, а мужчина, сидевший в последней комнате, где два дня назад сидел я, еще раз взглянул на меня в том смысле – что, мол, я здесь потерял. Нет, на терапевта он не походил, скорее – на поставщика бездомных кошек и собак – рупь штука или трех...

Я колебался, уходить или нет, и сотрудница Улитки, тридцатилетняя, спокойная, румяная, телесная, уловив мое невнятное движение, сказала:

– Можете подождать, она скоро вернется.

Улитку здесь, видимо, любили.

– Спасибо, я еще зайду, – сказал я и вышел.

Улитка могла явиться не одна, но только одна она мне была нужна, и я встал на часах. Я встал так, чтобы не бросаться в глаза и все видеть; университетский люд сновал туда и сюда между главным зданием и зданием бухгалтерии, где в мое время размещался журфак, между филфаком и зданием факультета физкультуры, похожим на тюрьму, откуда я когда-то выходил с поцарапанной о ковер физиономией, – я занимался самбо и даже имел какой-то разряд, потом раза два в жизни мне это пригодилось. Но там было все просто, все понятно. Теперь же я не понимал ничего. Я ждал ее, чтобы спросить. Я хотел из ее уст услышать свой приговор. В жизни бывает все, даже то, чего быть не может, и я не должен, не должен спешить с выводом. То, что она не захотела со мной говорить, само по себе не говорило ни о чем. То, что он там остался, значило не больше, чем остальное. Он остался из-за меня, чтобы я не пришел, это ясно. Квартиру он взял приступом, но Улитку таким макаром он взять не мог. Плохо он ее знает.

Время шло, а ее все не было, и люд, проходивший в одном направлении, теперь спешил обратно, с любопытством поглядывая на меня, ибо я был все там же, промерзший и примерзший, как волк у проруби. Прошло и полчаса, и час, и только через час пятнадцать из-за домов со стороны главного здания университета появилась она, в своей голубой куртке, в черных, под кожу, брюках, в татарской меховой шапке хвостами назад, с распущенными по спине волосами, выходящая походка, такая бывает у стройных длинноногих женщин с узкой талией. Она быстро прошла мимо, не заметив меня, и я, сделав в ее сторону несколько поспешных шагов, хриплым голосом выкрикнул:

– Улитка, подожди!

Она обернулась, остановилась без удивления, без радости и без досады.

– Здравствуй, – сказал я. – Я только на пять минут. Я сейчас уйду. Только спрошу тебя и уйду.

– Хорошо, – спокойно и просто сказала она. – Пойдем. Здесь холодно... – и протянула мне руку, как ребенку на перекрестке.

Как же было тепло в лаборатории! Мы прошли в последнюю комнату, где теперь было пусто – ни кошкодава, ни лаборантки – Улитка присела на край стола, а я остался стоять.

– Раздевайся, – сказала она. – Замерз?

– Слегка, – сказал я. Замерзшие губы меня совсем не слушались.

– Что ты хотел спросить?

– Что произошло, Улитка? – сказал я. – Ты даже не подошла к телефону.

– Я не хотела при нем с тобой говорить.

– Что случилось? Чем я тебя обидел? Я сделал так, как ты просила. Я поверил. Я думал, ты лучше меня знаешь, как поступить.

Улитка опустила голову, потом упрямо подняла, но посмотрела мимо меня:

– Да, получилось не так, как я думала... Он оказался сильнее. Я подозревала, что он сильнее меня...

– Он был с тобой ночью? – с трудом спросил я.

– Да, – сказала она. – Он остался, чтобы меня охранять. От всех. И отвечать на звонки. – и, взглянув на меня, добавила: – Но мне ничего нельзя, ты же знаешь...

А я почему-то посмотрел на ее таитянские своенравные губы с глубокими ямками в углах рта, я знал, как эти губы могут ласкать.

– В чем я виноват перед тобой? – спросил я.

– Это я виновата, очень виновата, – сказала она. – Но сейчас я иначе не могу. Меня слишком глубоко затянуло. Прости меня. Я, наверно, грязная женщина. Думай что хочешь. Я заслужила. Но я к тебе вернусь. Однажды я к тебе обязательно вернусь. Я захочу вернуться. А ты решишь – сможешь ли ты меня снова принять или нет. А сейчас мы должны расстаться. Это все, что я знаю.

– Хорошо, я буду ждать тебя, – сказал я, встал и пошел к выходу.

Когда я проходил мимо окна, она сидела в прежней позе, голова ее была опущена.

XI

Сначала была пустота, если можно назвать пустотой нечто темное, глухое, невыносимо болящее не только внутри, но как бы и снаружи. Яма, мешок... Я просидел в этом мешке пять дней, а потом выполз, выбрался и обнаружил, что жизнь не остановилась. Надежды больше не было, а значит – стало не больно. Боль только от надежды. Только от того, что есть что терять. Больно от несвободы, а когда все потеряно, то не больно. Свобода – это когда ты потерял все. Так я и начал жить и назад не смотрел, не думал. Думать было не о чем, думаешь – от непонимания. А я все понимал. «Ее украли», – говорил я себе. Ее украли, и с этим ничего не поделаешь.

Улитка была ничья, а ничейное легко переходит из рук в руки. Именно так подумал я о ней в злую минуту и зло, безнадежно усмехнулся. Через какое-то время я стал думать о том, кто отнял ее у меня, украл. Это «украл» было тем для меня удобней, что снимало вину с меня и Улитки. Улитка была ни при чем, я не смог ее осудить – значит, я все-таки ждал ее. Это я только сказал себе, что все кончено и надежды нет, это чтобы выжить, чтобы отпустила боль, но я, оказывается, ждал. И я думал о ней, точнее – о нем, что было для меня одно и то же, – ведь он вошел в ее жизнь, без которой я не мог продолжать свою. Видимо, он попал в какую-то слабую точку Улиткиной души, неизвестную мне. Чем же он ее заворожил?

Сложным путем, через двух знакомых, с выходом на коллекционера Диму, я узнал, что Улитка в больнице, и это, вместо того чтобы встревожить, обрадовало меня – она не дома, она не с ним, и даже вроде навещает ее один только Дима, с ней ничего страшного, что-то вроде анемии, низкий гемоглобин, ее колют, вгоняют железо в кровь, она ест гранаты, скоро выпустят. Много, много утешительного было в Диминых словах, хоть и вовсе не мне адресованных.

Я позвонил ей в Рождество, я знал, что она уже дома.

– Да... – ответил мужской голос, и я положил трубку.

Что можно услышать в секунду звучания этой утвердительной частицы русского языка? Я услышал все. Я услышал то, что и ожидал услышать. В голосе звучало плохо скрываемая досада, раздражение и растерянность. Конечно, Улитка рядом – это из-за нее он так... Он снова вынужден заступать на круглосуточную вахту. Для этого ему понадобится дополнительный отпуск за свой счет. Наверно, уже взял. Но через два дня, решив, что отпуск врачу-терапевту не дали по причине эпидемии гриппа, я снова позвонил. Я позвонил в полдень, когда, по моим понятиям, врачи-терапевты ведут прием гриппозных больных в своих районных, городских и ведомственных поликлиниках. Повод позвонить у меня, конечно, был – то ли какое-то залежавшееся у Улитки мое барахло, то ли книги, то ли этюдник, вдруг я засобирался на зимний пейзаж.

– Алло? – сказал ее родной голос, безрадостный, но твердый, и, как я ни готовил первую фразу и интонацию, я не уверен, что не выдал себя. У Улитки был тонкий слух, и читала она между строк. Да, я что-то там попросил, и она сказала: – Хорошо. Тебе это срочно нужно?

Вопрос меня ударил, и все во мне почернело. Я усложнял ее жизнь, ее проблемы, связанные вовсе не со мной.

– Хотелось бы до Нового года, потому что... – и я мрачно присочинил какие-то обстоятельства.

– Дело в том, что мне сейчас надо на работу... – извиняющимся тоном сказала она.

Вот оно что! А я подумал на другое. А она готова встретиться чуть ли не сейчас!

– Ради Бога! – сказал я, и в мрачном полыхнуло светлое. – Ради Бога, извини. Я не хочу тебя утруждать...

– Какие тут труды... – сказала она, и голос ее слабо улыбнулся.

– Я тогда еще позвоню, – сказал я.

– Конечно, звони, – сказала она. – В любое время.

Боже, откуда этот свет, этот луч во мраке? Радостно и больно! Что же это такое? Что же она такое сказала, что мне радостно и больно и какая-то другая жизнь вдруг во мне – словно вынули одну и поставили другую, как видеокассету, и нажали кнопку, и пошло-поехало цветное изображение, полилась музыка... «В любое время», – сказала она. Что это значит?

Это значило все!

Кое– как я прожил еще два дня, на дворе было двадцать девятое, по городу несли елки, на Невском перед Гостиным двором на темных огромных елях – неужели такими бы стали эти вырубленные до срока рахитики? – болтались детские пластиковые игрушки, мои немногочисленные друзья спрашивали, где я собираюсь встречать Новый год, я отвечал, что пока не знаю, лелея невозможную мечту, и вот я позвонил ей, как обещал, и она сказала:

– Приходи, когда тебе удобно. Я тут одна...

Вот и все. Я положил трубку. Мне было трудно дышать. Я бы заплакал, но не смог. А еще через несколько минут я почувствовал, что не хочу к ней идти.

Утром тридцатого она позвонила сама.

– Ты знаешь, я была в больнице, – сказала она. – Я никого не хотела видеть, никого к себе не пускала. Один только Дима ходил. Я вообще плохо помню, что было до больницы. Какой-то туман. Будто я себя потеряла. А в больнице... в больнице я снова себя нашла и стала сильной. О, я стала такой сильной! Я вернулась, а он тут у меня живет... Я не могла его больше видеть. Я так ему и сказала. Я его прогнала. «Я тебя ненавижу», – сказала я, и он ушел. И мне было так хорошо одной первые дни. А сейчас, – голос ее дрогнул, – сейчас что-то снова накатывает. Мне страшно, и я снова не сплю. Какие-то чудовища приходят по ночам и водят, таскают меня за собой и мучают, мучают. Я не могу заснуть. Я чувствую, что снова теряю себя. Я думаю: «Там Игнат» – и хочу к тебе. Но не могу, не знаю почему... – и она заплакала.

Я слышал, как она плачет в трубке, и сердце мое было холодным.

– Приезжай ко мне, – сказал я. – Ты можешь сейчас ко мне приехать?

– Да, – сказала она.

– Я встречу тебя, – сказал я. – Через час я подойду к метро. Ты успеешь?

– Да, – послушно сказала она. – Жди меня.

Ровно через пятьдесят минут я надел куртку и пошел к метро. Падал снег. Маленький и мокрый, быстрый. Торопливый снег. Словно понимал, что мало его еще, и прибывал до новогодней нормы. Нет, слишком рано она ко мне возвращалась, я был не готов. Я положил нам другой срок. Так быстро я не умею. Есть же какие-то законы, по которым живет чувство. Быстрые ребята... Я так не могу. Я так не умею. Это вам не шуточки: любит – не любит, плюнет – поцелует... Выбирайте что-нибудь одно. Нельзя все в кучу. Такой компот не переварить. Я выбрал, я честно ушел, уполз, забился в темный угол – молчать и зализывать раны, набираться терпения и прозревать, учиться всепрощению, а меня вытаскивают, манят пальчиком: что ты там пригорюнился, буйну голову повесил? Иди ко мне, хочу к тебе, все хорошо... А завтра... очень

может быть, что завтра она скажет мне то же самое, что ему. Нет, не скажет. Я всегда уходил хоть на минуту, но раньше, чем она этого захочет. И потому она всегда была мне рада. Это же так просто. Это Генри Торо, я ей рассказывал, и она ввела его в круг своих друзей, хотя не прочла у него ни строчки. Я ей передал много своих друзей. О, эта счастливая способность схватывать все на лету. Быстрота ума. Когда нет нужды разжевывать. А если уж говорить, то только о крупном, о главном. Как интересно с ней! Нет, конечно, я ее люблю. Это самообман, что мне все равно. Это я осеменяю себя крестным знамением от наговора, от злого глаза, от зависти. Я слишком счастлив, я счастлив настолько, что вынужден это скрывать, иначе меня растерзают, разорвут на части все эти бедные люди вокруг с мрачными озабоченными лицами – они разорвут меня на куски, потому что им кажется, что большое счастье состоит из тысячи маленьких. Эскалатор выбирал темную людскую породу из нутра земли и рассыпал по поверхности, кого куда, и не было в них радости, и не знали они цели, ради которой стоило жить. А я знал, я стоял рядом с ними, ну, чуть в стороне от их нескончаемой вереницы, и боялся поднять глаза, чтобы не выдать себя.

Улитка опаздывала. Обычно она была точной. Она была самой точной женщиной из всех, кого я знал. Она и меня побуждала к точности. Это означало – уважать чужое время. И еще – уважать чужие чувства. Да, да, те самые, о которых говорил Лис Маленькому принцу. Какого же он все-таки рода, этот Лис? Странная у них любовь. Итак, я подготовил свое сердце к встрече с Улиткой, а ее все не было. Ее не было уже пятнадцать минут, этот месяц все-таки выбил ее из колеи. Прошло полчаса, прежде я почувствовал, что пожалуй, неправильно подготовил свое сердце, и вообще зря его готовил. Лучше бы и не вспоминал о нем. Ведь я пришел, чтобы пожалеть ее, помочь, коль скоро она об этом попросила, она ведь никогда ни о чем не просила, кажется, не просила и теперь, но сказала, что теряет себя и ей страшно, и я сказал – приезжай, то есть просьба все-таки была, хоть в скрытой форме, но была. Она так послушно согласилась приехать. Она ведь так быстро решала в ответ, быстрее, чем я предлагал, так что у меня всегда оставался некоторый излишек слов, который я по инерции договаривал после ее «да». С ней было всегда так легко договариваться. Можно было позвонить среди ночи и сказать:

– Давай поедem в Москву?

И она скажет:

– Поедем, – и никогда – «почему, зачем»?

Прошел час, а ее не было. Неужели что-то случилось? Я не знал, что делать: стоять, ждать – ведь она могла появиться с минуты на минуту – или же все-таки бежать к телефонам-автоматам, которые были только на улице? Я боялся ее упустить – это опять чуть ли не означало потерять. Я больше не найду ее, если потеряю. Она ехала ко мне из точки «а», и я стоял в точке «б» и ждал ее, это был кратчайший путь, приводящий ко мне, и еще час назад мне казалось, что у случайности нет ни одного шанса помешать мне на этом отрезке, но час прошел, а Улитки не было. Уже час ею верховодило нечто непредвиденное... Или опять ОН? Да, она вышла, захлопнула дверь, спустилась по лестнице, а на нижней площадке стоял он, бедный, несчастный, не спавший трое суток. В руках у него был букет роз. Так что, если я сейчас позвоню, трубку снимет он, и это будет конец. И мне ничего не остается, как только ускорить его.

Я залез в промерзшую, грязную, вонючую телефонную будку и, косясь на выход из метро, набрал Улиткин номер. Телефон молчал. Фу... Так-то легче. Значит, она поехала ко мне. Но что-то ей помешало. Что-то или кто-то. Ну конечно – он повез ее к себе. Нет, он вошел к ней. И они просто не отвечают на звонки. Им не до того. Зачем отвечать на каждый звонок? Мы тоже не отвечали. А телефон звонил, звонил, будто догадываясь, что мы дома, будто желая помешать нам, разорвать наши объятия, и, пожалуй, разрывал их, хотя руки оставались сцеплены, – разрывал, потому что наши души разъединялись и каждая порознь тревожно прислушивалась и гадала – кто же это такой настырный...

И я снова звонил, неистово вслушиваясь в акустику гудков, соответствующих телефонному звону в Улиткиной квартире, будто мог проникнуть вместе с ним в те стены, чтобы узнать, понять, увидеть. Нет, пустотой откликались во мне эти звонки – если бы там кто-то затаился, эхо было бы иным. И вдруг страшная догадка осенила меня – она погибла! Что же делать? Уже полтора часа я

болтался у метро, в то время как она звонила мне домой, чтобы я помог, спас, вынес. Как же так? Теперь поздно. Теперь уже не она – другие звонили мне, чтобы сказать о ней. Но кто бы позвонил? Оказывается, на самый страшный случай у нас не было связи, наша связь была рассчитана на нормальный ход вещей. Они даже не знают, что у нее есть самый близкий на земле человек, который первым должен оказаться рядом с ней, живой или мертвой.

Я примчался домой, готовый к великой беде, но матушка даже не вышла из комнаты на звук моих шагов. Так... значит, звонков не было. Ну, конечно, никто из них про меня не знает. Могла позвонить только она, Улитка, но не позвонила: расхотела, раздумала, направилась в другую сторону, что уже бывало. Она перепутала ветки и вышла не на той станции и оттуда решила добираться трамваем, а трамвай увез ее в трамвайный парк, а там она осталась пить чай с вагоновожатой и рисовать ее портрет. Так что надо смирно дежурить у аппарата, пока, может быть, к вечеру не разъяснится, что к чему. В музей сегодня можно не ходить, а дел много – статья, стихи, стихия работы, она почти заслоняет боль, если нырнуть поглубже; боль, правда, вернется, но тогда можно снова нырнуть, и так до тех пор, пока вся она не избудет. Все-таки я слишком поспешил устремиться навстречу. Мне ли, битому, не быть осторожным? Не верить, не верить и подвергать сомнению. Или как в лагерной заповеди выживания: не верь, не бойся, не проси! Все три принципа я нарушил. Что же я за глупец такой, Кандид простодушный! Вот и матушка о том же. Она считает, что все меня обманывают, пользуются моей добротой. А я ведь вовсе не добр, я даже зол внутри, у меня много злого в мыслях. Добро тогда добро, когда оно деятельно. А я не делаю ничего, чтобы добра было больше. Я ушел от дел, я обхожу все ловушки. Только в одну и попал – в ловушку любви. В ее капкан. Вот и больно. Вот и лежи – перегрызай собственную ногу. Больно? Больно. Очень больно? Очень. Но терпеть можно? Можно. Иначе бы я вопил на весь мир. А я молчу. К вечеру отпустило наконец. А ну ее к лешему! Захочет – сама найдет, придет. И встречать не надо. Звонить я ей не стал.

Но днем тридцать первого, едва я вернулся из музея, где мы скромно, шампанским, отметили наступающий 1987-й и разбежались, едва я пришел домой, как вдруг телефон прервал заговор молчания и по первому его звонку я понял, что это Улитка. Она извинялась. Она просила прощения. С ней произошло именно то, что я и предполагал: другая станция метро, трамвай и даже, представьте себе, трампарк, а потом таксист, который бесплатно катал ее по городу, чтобы излить душу – с женой нелады, а мальчонку жалко.

– Ну, что теперь? – вроде бы засмеялся я. Как будто не подышал вчера. Спросить, приедет ли она, я не смел.

– Я приеду, и мы с тобой встретим Новый год, – сказала она.

– Когда тебя ждать? – спокойно спросил я. Даже деловито спросил.

– Часов в шесть.

– Хорошо. Ровно в шесть я буду у метро, – сказал я и поспешно, пока ничего не изменило этот дивный, волшебный уговор, положил трубку.

Наконец я ее познакомлю с матушкой, вместе, видимо, и встретим Новый год. Я бы давно их познакомил, да матушка все отнекивалась. Ее можно было понять – она не хотела расширять круг своих обязательств. Отношения с людьми она понимала как принимаемые на себя обязательства. Обычно мои подружки не претендовали на то, чтобы быть представленными матушке. Но Улитку я любил, хотя матушка этого не знала. После своей неудачной женитьбы я стал скрытничать.

Как и вчера, я прождал Улитку полтора часа, но остался спокоен – что-то было против нашей встречи, даже не знаю что. Возможно, моя любовь была против – она возрождалась во мне только до определенной черты, до жажды себя самое уничтожить, встреча только и нужна была ей для того, чтобы совершить самоубийство. Улитка словно чувствовала это. Она не приехала.

Чтобы не вставать на уши, я отправился встречать Новый год к друзьям, бросив матушку, которая заявила, что все равно рано ляжет спать; и под утро одна из разведенных подруг хозяйки дома стала примериваться ко мне, и я по-тихому смылся, сбежал по свежему ночному снежку и

дома спал до полудня, пока меня не разбудила осторожная матушкина кухонная возня. Чем она была осторожней, тем досадней звякали и брякали тарелки и кастрюли. Матушка была обижена и отрешена. Мог бы и не уезжать. Она даже что-то там вчера приготовила. Я, конечно, законченный эгоист, я служу своим страстям, на самого дорогого человека мне наплевать. Матушка считала, что она и я – это семья. А я так не считал. Семьи у меня не было. Отсюда и наши разногласия. Еще матушка часто повторяла, что в доме нет хозяина. Предполагалось, что хозяином должен быть я. Рачительным и деловитым. И ежедневными заботами приумножать домашний уют. Для дома я действительно ничего не делал. Не было у меня дома – чувство собственного жилья было отбито у меня, как носик у чайника. У меня не было семьи и не было своего дома. И я говорил себе, что мне и не нужно. Мне не хотелось чем-либо владеть, чтобы не умножать суеты. Лишь одной суете я служил – суете любви.

Под вечер матушка уехала в гости, сказала, что еще вчера бы уехала, так ее приглашали, – да, она еще нужна людям, если не нужна сыну. Сказала, что там и останется, так что я могу делать что хочу, – будто мне было двадцать лет, и в свободную квартиру (тогда у нас была всего лишь комнатуха) немедленно врывалась другая жизнь. Я не хотел, чтобы матушка уезжала, я не знал, что буду делать один, она меня не поняла, как не понимала часто, впрочем, не моими ли стараниями. Зачем ей знать про меня? Старость полна страхов там, где еще недавно жилось безоглядно, – наверное, жизнь и вправду страшна, когда погасает воля жить. Только незрячесть – залог нашего неистребимого стремления вперед, в никуда...

И Улитка позвонила. За окном мелко сыпал все тот же, еще предновогодний, снег, будто не в силах остановиться, хотя добавить к сказанному ему, в общем, было нечего, но тут зазвонил телефон, обычно молчавший первого числа до самого вечера, когда приходят в себя и к себе и с сожалением о прошедшем снова взбадривают знакомых и садятся за стол, чтобы доесть и договорить, хотя еда все та же и все те же разговоры, и знакомые те же, и сама жизнь, разве что еще больнее, но мне позвонила Улитка и, не слушая меня, стала говорить:

– Прости, я вчера снова не смогла приехать к тебе. Ты, наверно, ждал – прости. Я больше не буду. Я вчера вышла и ходила, ходила по городу, и места себе не могла найти, и идти ни к кому не могла, даже к тебе, а в полночь я пришла на вокзал и поняла, что это то, что я искала. Там были такие же бродяги, как я. А поезда уходили – один за другим, – и вместе с ними я отправляла свою боль. Я не помню, сколько их я проводила, я их провожала, пока не почувствовала, что боли больше не осталось, они увезли ее в ночь и снег, а я вернулась домой, и мне стало спокойно, прохладно, легко, и я легко заснула, впервые так легко после больницы. Теперь я могу приехать к тебе, если можно.

– А ты хочешь? – спросил я. – Тебе это нужно?

– Да, – сказала она.

В третий раз пошел я к синему морю, и приплыла ко мне Золотая рыбка, то бишь Улитка.

Чего тебе надобно, старче?

Любви.

Ночью я проснулся от счастья, переполнявшего меня, и долго не мог понять, отчего это на потолке – розовое, голубое, оранжевое сияние в россыпи серебристых брызг. Это праздник, думал я, это Новый год на улице, но это была моя елка, это горела забытая гирлянда огней. Я потянулся, чтобы выключить ее, Улитка рядом зашевелилась, взяла мою руку и сонно пробормотала:

– Не уходи...

ХП

Дано ли нам чувство реальности, можем ли мы знать наверняка, что если бы поступали так-то и так-то, то получилось бы именно то-то, а не что-нибудь иное, чего и представить себе нельзя. Ведь у всех у нас две жизни. Об одной мы можем легко рассказать себе и другим, всему находя

объяснение, распутывая узелок за узелком. Мы носим ее как шерстяную фуфайку, она греет, хоть и сквозит на свету. Это то, что мы про себя придумали, что имеет смысл и что оправдывает нас. Другая же – это клубок пряжи, сучащаяся нить нашего чувства; нам хочется связать что-то полезное, но одно неосторожное движение – и петли вновь ползут.

Когда Улитка приехала ко мне, я был ей другом, братом, милосердным братом, и готов был им оставаться, пока боль и страдание не избудут в ней, но она протянула ко мне руки, я понял, что она хочет моих ласк, понял это с изумлением – мне казалось, что этого еще долго не будет, но она, запрокинув голову, закрыв глаза, нет – полуприкрыв их, так что видны были безумные блуждающие зрачки, ждала меня, и я уступил ей, как, наверно, уступают женщины. Когда же она обвила меня руками и ногами, прильнула, будто отказываясь от себя, от отдельного существования своей души и плоти, у меня зазвенело в голове, и, судя по тому, что я не помню дальнейшего, я был, наверно, счастлив, как никогда прежде. И после – после тоже был счастлив, когда волна схлынула, ушла, обнажив нас, как камешки на берегу. И во сне счастье продолжалось, и когда я просыпался, словно проверяя – рядом ли Улитка, счастье тоже было рядом. Впрочем, как и тревога. Тревога была из-за избыточности его. Из-за моего подспудного ощущения, что я его не заслужил, что награда пришла не по адресу. Нет, и это не так – просто раньше времени. Счастье пришло раньше, чем я был к нему готов. Но разве к нему готовятся? А утром, отмечая мои последние сомнения, Улитка сказала:

– Я знала, что вернусь к тебе. Мы будем вместе, если ты захочешь.

Раньше я считал, что в любви есть вещи, которые простить нельзя, – скажем, физическую измену. Но в любви измена невозможна, возразят мне. Увы – отвечу я. В любви возможно все, и прежде всего невозможное. Другое дело – как мы к этому отнесемся. Раньше я бы не простил – как не простил свою бывшую жену, хотя думал, что простил, что перешагнул через это. Но вот что дальше произошло: был день и ребенок наш спал, а теща ушла в магазин, и мы посмотрели друг на друга, и в потемневших глазах моей жены я прочел желание, и это выражение ее лица меня всегда возбуждало, мы быстро разделись и легли, не разбирая постели, и она, прекрасная, обнаженная, желанная, мне сказала:

– Давай так... – и предложила, как это мы будем делать. И хотя в ее предложении не было для меня ничего неожиданного – за три года женитьбы мы перепробовали все, что только можно придумать, – вдруг в этот момент что-то внезапно и резко сломалось во мне. Я приподнялся на локтях и посмотрел на нее, физически ощущая, какое у меня лицо.

– Нет, ты меня не понял, – вспыхнула она, мгновенно прочитав мои мысли. И, видимо, была права – я ее действительно не понял, и слова ее вовсе не относились к тому добавочному опыту, который она приобрела не со мной. Но я поднялся с постели, как покойник, и стал одеваться. Жена молча глядела на меня. Мне было невыносимо жаль ее, но я ничего не мог с собой поделать. Я оделся и сказал:

– Мы с тобой останемся мужем и женой, потому что у нас ребенок. Но спать мы с тобой больше не будем.

Возможно, очень даже возможно, что в тот момент я все же блефовал, я хотел сделать больно, проучить, преподать урок. Но, увы, так и получилось, – я к ней больше не смог прикоснуться, будто кто-то, распоряжающийся нашими судьбами, подслушал мои слова. Через полгода жена от меня ушла.

И вот Улитка сказала:

– Мы будем вместе, если ты захочешь.

И я ответил:

– Я хочу, – и у меня даже мысли не шевельнулось – прощать или не прощать. И не любовь была тому причиной. Другое – возраст. Алеко, убивающий свою юную Земфиру... Никогда не верил в эту историю. У Лорки бедный влюбленный старикан дон Перлимплин убивает самого себя

– и в это не верю. Возраст (как-то трудно сказать – старость) или прощает, или отпускает восвояси. Я простил, потому что мне было сорок четыре, а Улитке двадцать один; я хотел, чтобы Улитка была со мной до конца моей жизни, то есть при нормальном ходе вещей еще четверть века. Это невероятно много для счастья, а мне казалось, что я буду с ней счастлив. То есть я даже не заикнулся на тему прощать или не прощать. Она явилась – и я открыл ей дверь.

Прошло недели две, и все было хорошо, как бы по-прежнему, или еще лучше. Гроза миновала – небо стало выше, даль – дальше. Правда, за это время я ни разу не был у Улитки – все как-то не получалось. Но мы часто виделись в городе и, погуляв, сходя в кино, в театр, на выставку, заворачивали ко мне. Иногда она оставалась на ночь. Она готовилась к переезду – срок, на который она сняла квартиру, истекал.

И все-таки однажды я приехал. Все было на месте: моя зубная щетка, мои тапочки. «Я это никому не позволяла трогать», – сказала Улитка. «Никому», – машинально подумал я, заходя в комнату с тем внутренним стеснением, с каким входят в морг. И здесь все было по-прежнему, никаких чужих следов, никакой чужой жизни, только на стене – новая работа, заставившая меня вздрогнуть: сатана, жадно обнимающий молодую, прекрасную женщину, фигурой так похожую на Улитку. Его пальцы-когти впиваются ей в тело, а она не слышит боли или даже отдается ей, закинув свои руки за шею сатаны, и все ее тело – порыв к нему, и не видит она его огромных кожистых крыльев, которые вот-вот сомкнутся, как створки раковины, и поглотят ее.

– Что это? – спросил я.

– А... это не мое, – сказала Улитка. – Какой-то американец. Это один заказчик просил меня сделать копию. Я сделала, а он не идет.

От картины веяло ужасом.

– Отдай ее мне пока, – сказал я. – Заказчик объявится – я верну.

– Бери, – равнодушно сказала Улитка. – Она мне не нравится. Я всего полчаса работала. Она большего и не стоит.

– Эта женщина похожа на тебя, – выдал я.

– Да, – сказала Улитка. – Фигура моя. Ой, она так тянется к этому типу... А вообще-то пошлость.

Я снял картину, перевернул изнанкой и прислонил к стене. Была бы моя воля, я бы ее выбросил, истоптал, сжег – дьявольщина была в ней.

– Холодно... – поежилась Улитка. – И батареи не топят. Давай полежим?

Мы разделись и залезли под одеяло, прихватив парочку альбомов. Улитка подоткнула подушку, чтобы удобней посмотреть, и раскрыла один из них. Кажется, это был Боттичелли, его «Весна», целиком и в прекрасных фрагментах, где видно было движение кисти. Улитка считала, что вся живопись модерна вышла из «Весны», только то, что было тайной, модерн сделал явным и, в общем, загубил. Живопись модерна она считала скорее интерьерной, чем самостоятельной, а потому сам интерьер этого периода ставила выше его живописных изысков.

– Вот смотри, – сказала она, положив свою смуглую прекрасную кисть на лист альбома с фигурами трех застывших в танце граций. И в это время зазвонил телефон.

– Не поднимай, – сказал я. Это было наше время, и ничье больше.

– Дима должен позвонить, мы договаривались, – сказала она и, выбравшись из-под одеяла, голая, на коленях, потянулась к трубке. Это и был он.

– Дима, я ничего не слышу, – сказала она в трубку. – Ты из автомата? Две копейки еще есть? Иди в другую будку и позвони. Ничего, я тебе отдам... – видимо, Диме было жалко лишней

двушки. И Улитка бросила трубку, несмотря на очевидные Димины протесты. – Не могу же я орать, – повернулась она ко мне. Господи, я так и не привык к ней, обнаженной.

– Иди ко мне, – глухо сказал я, протягивая к ней руку.

– Подожди, сейчас он позвонит, – лицо ее стало виноватым.

– Да ну его к черту.

– Ты прав, не надо было отвечать. Этот проклятый телефон, он всегда звонит не вовремя. Сейчас, потерпи чуть... – в голосе ее прорвалась тягучая обещающая хриплая нотка.

О, милая, как хорошо, как легко с ней...

Телефон снова зазвенел, и Улитка нетерпеливо схватила трубку:

– Дима?!

Это был не Дима. Впечатление было такое, будто Улитка наткнулась на что-то с разбегу. Голос ее изменился, стал глухим и каким-то незнакомым – зависимым. А мужской голос на том конце линии был сильным и твердым, и, видимо, линия эта была совсем короткой, потому что я хорошо его слышал. Я не разбирал слов, но интонация этого голоса... она вся была на слуху, как проход электрички в пристанционной дачной округе. И больше всего меня поразило, с каким правом и натиском этот хорошо поставленный баритон на чем-то настаивал. Впрочем, было ясно на чем.

– Нет, не приходи, – сказала Улитка. – Я сейчас уйду, сию секунду.

Хотя мы, как я понимал, никуда уходить не собирались.

– Ну и что, что рядом, – сказала Улитка.

– Нет, и на минутку не надо, – сказала Улитка. И голос ее все более мерк, – на его солнечность напозло облако.

– Я не буду ждать, – сказала Улитка.

– Не надо встречать меня у метро, – сказала она. – Я не одна, я тут... с художником. Он зашел за красками, и мы сейчас вместе уходим...

– Нет, – сказала она, – не надо, ты не впишешься. Ты мне потом позвонишь, ладно?

Это он, застучало у меня в висках, это опять он, мой соперник, дьявол, сильный, уверенный в себе. И то, как он говорил с моей Улиткой, совсем не вязалось с тем, что он прогнан, проклят, отвергнут.

– Ну пока, – мертво сказала Улитка и положила трубку. Она не обернулась, а оставшись у телефона, так и сидела голая, на коленях, спиной ко мне. Обернуться ей было как бы не под силу, но в то же время как бы и не нужно – поза ее уже выражала ожидание другого звонка, Диминого, и он раздался, и, услышав Диму в трубке, она с облегчением сказала:

– Ну вот!

Разговор был короткий, и Улитка произносила только одно слово: «Хорошо». Положив трубку, она наконец обернулась, как бы полная новой темой, хотя и старая была, была в ней, – обернулась и сказала:

– К сожалению, ничего у нас сегодня не получится. Мне надо по делам. Дима ждет. Ему только на час принесли одну штуку, очень дорогую, я должна посмотреть, можно ли отреставрировать.

Но что-то в моем лице, видимо, было такое, что Улитка, взяв меня за руку, добавила тепло и бодро:

– Ну, что ты? Что ты киснешь? Все хорошо. Одевайся. Я знаю, про что Дима говорит. Это шкатулка, восемнадцатый век, перегородчатая эмаль. Редкая вещь. Скорей, у нас мало времени.

Мы молча оделись и молча вышли на улицу. День был серый, холодный, грязно-ледяной, и в моих глазах было темно.

– Ну что ты скис, Игнаша? – потрясла она меня за руку.

– А то непонятно, – сказал я.

– Ну что – позвонил приятель, – сказала она. – У меня же много приятелей. Для тебя это не секрет.

– Это был не приятель, – сказал я. – Я слышал его голос, поневоле слышал... Так может говорить только очень близкий человек... Скажи мне правду – и я уйду. Я не буду тебе мешать.

– Какую еще правду?! Я все тебе сказала.

Я набрал в легкие воздух, зажмурился, как перед прыжком в воду, в пропасть, в никуда, и выдохнул:

– Я тебе не верю.

Улитка выставила челюсть, закусила нижнюю губу, промычала что-то и на одной ножке попрыгала вперед – в куртке, в черных обтяжных брюках под кожу, в большой меховой азиатской шапке с двумя лисьими хвостами на спине – шапка делала ее похожей на татарскую княжну. Еще ни разу я не говорил ей ничего подобного («Со мной нельзя грубо, я грубость не выношу – я сразу ухожу»). Она ускакала от меня на несколько шагов, потом вернулась – так же, на одной ножке, схватилась за мою руку, чтобы не потерять равновесие:

– Не ссорься со мной, ладно? Со своими приятелями я как-нибудь сама разберусь.

Не скоро я узнал, что этот тип взял у нее в долг большую сумму, по моим меркам – очень большую, половину того, что оставила ей в наследство бабушка, и не отдал в срок, и теперь это, естественно, волновало ее.

– Зачем ты дала? – сказал я.

– Он попросил. Когда меня просят, я не могу отказать.

– Сказала бы, что у тебя нет.

– Он знал, что есть. Я не умею обманывать, мне становится стыдно. Мне стыдно не дать, если люди просят.

– А им не стыдно?

– Это их дело.

– Дай мне его телефон.

– Поедешь бить морду? Так я вообще денег не получу. Не вмешивайся. Он обещал отдать через месяц. Вот если не отдаст...

Вот откуда эта требовательная, наглая интонация – большие деньги связывают крепче постели, и он – судя по ее словам, фарцовщик – прекрасно это знал. А так больше ничто не омрачило тогда первый месяц нашего нового года.

Вскоре Улитка переехала, и я был этому рад. Из района застройки шестидесятых годов, из «хрущевок», среди достоинств которых есть и то, что жизни им положено лет пятьдесят, – значит, когда-нибудь их непременно снесут, – из такого вот района Улитка переехала в Санкт-Петербург, прямо в середину девятнадцатого века, на канал Грибоедова, бывший Екатерининский, в четырехэтажный особнячок, вышедший из капитального ремонта целым, хотя и сильно поврежденным. От истории в нем, конечно, ничего не осталось, как и в тысячах других зданий, отремонтированных так, чтобы капитально отшибить память бетонными плитами новостроя. И все-таки место было уникальное – петербургская Коломна. Рядом, совсем рядом, была Театральная площадь, собор Николы Морского, до которого можно было идти по Садовой, чтобы, поднявшись на чудесный пешеходный мостик, одним взглядом окинуть золотые купола и голубые стены за сетью деревьев, убегающий по прямой Крюков канал, что там, дальше, за Мариинским театром, впадает в Мойку; в воде тихо плавится небо, и глядится в нее красавица-колокольня, словно на миг покинувшая своего строгого родителя; но можно пойти к Николу и по проспекту Римского-Корсакова, бывшему Екатерингофскому... и куда ни глянь – адреса, адреса. Кажется, вся русская литература, музыка, живопись побывали здесь. Горевать ли, что в лучшем случае только таблички напоминают об этом, а внутри пусто, голо, мертво? Я уже не горевал – я шел в февральский глухой морозный вечер привычным путем к Улитке, и все эти темные, облезлые, облупленные дома с разодранными подворотнями, загаженными лестницами, с выбитой узорчатой решеткой перил (а когда-то там лежали ковры), все эти убийственные дворы-колодцы с вонючими помойками, по которым брезгливо шастали подвальные кошки, – весь этот знакомый с детства городской разор, заматерелый неуют, почему-то только прибавлявшийся, множившийся по мере того, как я рос, а теперь вот старел, – все это так давно стало неотъемлемой частью моей жизни, частью меня самого, что смешно было бы искать виноватых. В самом деле, от Европы у нас только фасад – мечта о красивой жизни, а двор помоечный – наша реальность.

На сей раз Улитка сняла квартиру из двух комнат на втором этаже. Точнее – это были те же комната и кухня, но кухня была чуть не вдвое больше комнаты, и Улитка сказала: «Там я буду спать, а здесь будет моя мастерская». Квартира эта отпочковалась от коммуналки, к ненависти оставшихся в ней, здесь же у хозяев теперь был свой отдельный вход, ранее забитый за ненадобностью, а в свою большую кухню они встроили ванную вместе с санузлом, провели газ для плиты, установили раковину. К моменту вселения Улитки газовой плиты еще не было – она застряла где-то в пути, завязнув в доносах, которыми бывшие соседи еще пытались отравить жизнь предприимчивым отделенцам, и пока шла эта борьба, Улитка обходилась старой допотопной электроплиткой, подарком Димы. Новое Улиткино жилище мне понравилось, хотя в нем было темновато из-за стены соседнего дома. Тусклый свет удручал Улитку, и в один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь, окна превратились в витражи – в дев эпохи модерна среди декоративного узора из листьев и лилий. Витражи ей заменили шторы, которые я советовал повесить, услышав, что кто-то за ней подглядывает по ночам из окна напротив, – теперь она могла ходить нагишом в свое удовольствие.

Я шел через Театральную площадь в глухих ночных огнях, через Крюков канал, по мосту, вид с которого запечатлен на известной гравюре Остроумовой-Лебедевой, шел мимо школы, где я когда-то учился и где выжимал из себя слезы в день смерти Сталина, поворачивал по набережной, где в эту позднюю пору попадались только владельцы собак, а поискав глазами, можно было обнаружить и темное пятно ее самой, задумчиво обнюхивающей ствол дерева в решении вечного вопроса «что делать?»; я выходил на проспект Римского-Корсакова, в этом месте отчужденный от прохожих зданиями бывших казарм, затем сворачивал на Лермонтовский проспект и мимо бывшей Эстонской церкви, занятой мастерскими Художественного фонда, организацией богатой, но клоачной, куда Улитка тщетно пыталась устроиться, – мимо церкви спешил дальше через мост, сворачивал вдоль канала направо, и вот уже впереди розоватый Улиткин дом, вот двор, а в углу на втором этаже, рядом с глухой стеной, – витражные переливы Улиткиных окон. Я нес ей одеяло. «Зачем? У меня куча одеял...» Но оказалось, что всего два, тоненьких, детских, одно на ноги, другое на плечи... А была зима, и дуло во все щели новых капитальных рам, которые, само собой, повело.

Вскоре хозяева привезли разобранный платяной шкаф, и я его собирал. Прежде платяные шкафы мне собирать не приходилось, но задачка была на уровне детского конструктора, и Улитка была от меня в восторге. Только под занавес я сообразил, что ухитрился составить вместе все эти

неподъемные части без крепежных болтов – они обнаружились совершенно случайно, и надлежало использовать их по назначению. Теперь-то моя шаткая конструкция, готовая завалиться от одного дыхания, отвердела. Однако присутствие в дереве шкафа крепежного металла как бы опошляло мебельную идею, сводило ее к нулю.

– Протезный шкаф, – скривилась Улитка. – Ничего, я себе куплю настоящий. В стиле модерн.

В то время как я занимался сборкой, в большой комнате возился над разбитым хозяйским пианино Илья Исаакович, настройщик, порекомендованный моим приятелем-музыкантом. Сняв крышку и увидев потрескавшуюся деку, Илья Исаакович поначалу посоветовал отправить инструмент на свалку, но, присмотревшись к Улитке, передумал и сказал, что попробует. Улитка нарочно вырядилась и с голой спиной, в мини-юбке, а скорее – в набедренной повязке, гарцевала мимо него на высоких каблуках. Ей очень хотелось, чтобы глухой, расстроенный, почти безголосый ящик фирмы Юргенсон 1898 года снова зазвучал, – ведь у нее было семилетнее музыкальное образование и она обожала чарльстоны. Илья Исаакович, высокий и не очень старый, косясь на Улитку, попил чайку с медом и принялся за работу. Через два часа инструмент запел – это был свиридовский романс из музыкального цикла к «Метели» Пушкина. Играл Илья Исаакович как человек, у которого почти все позади, однако с неутраченной надеждой на кое-какие отдельные зарницы; он уже успел выяснить, что я Улитке не муж, а так, и даже услышал от нее хорошо мне знакомую фразу: «Я женщина свободная». Деньги он за работу взял, сухо мне кивнул, а Улитке поцеловал ручку, и, когда дверь за ним закрылась, Улитка показала мне тоненькую самиздатовскую книжицу с одним из эротических рассказов Альфреда де Мюссе, которую Илья Исаакович горячо советовал ей прочесть. Я сказал, что не уверен, что это Мюссе, и что читать ей это поздно. Это литература для подростков и старых маразматиков.

– Я и не собираюсь, – хмыкнула Улитка. Она встала посреди кухни-мастерской – высокая, красивая, стройная, подбоченилась, раздула ноздри. – Вообще, что он себе позволяет?!

– Ну и дала бы ему этой книжкой по лысине...

– Ничего себе, дядечка... – она подсела к пианино, бойко побренчала свои чарльстоны, отодвинулась вместе со стулом, посмотрела в окно, на одну из своих не то наяд, не то дриад. – И все-таки мне его жалко. Он такой старый, печальный, он так смотрит... Меда поел, а у него диатез.

На следующий день – это было при мне – Илья Исаакович позвонил. Он осведомился, здесь ли я. Улитка сказала, что меня нет. Тогда он предложил встретиться, чтобы обмыть шампанским запевшее пианинное нутро. Он уже был готов выехать – с шампанским в портфеле.

– Сегодня я не могу, – сказала Улитка. – Я занята, – как если бы сожалела об этом.

И тогда Илья Исаакович заговорил. Он говорил долго и, наверное, вдохновенно, потому что Улитка, вопреки привычке, не перебивала, и, взглянув на нее, я с удивлением увидел, что все это ей безумно интересно. Наконец она сказала:

– Шампанское? Всего-то? Такой женщине, как я? Я думала, вы меня пригласите в ресторан...

«Он икнул, – рассказывала она, – а потом сказал, что подумает, и сразу стал прощаться».

Я почему-то рассердился:

– Тебе надо было сказать ему, что он старый козел. Зачем ты морочишь ему голову?

– Разве морочу? Может быть... Мне ужасно любопытно, как он себя будет вести. Если он оставляет мне какую-то порнографию, значит, он заслуживает такого обращения... Но если я скажу ему правду, он умрет. И я буду виновата перед его женой. По голосу она у него ревнивая. Грымза, наверно...

– Он не умрет, – сказал я.

– Да, – согласилась Улитка. – Но ему будет плохо. Пойми, мне жалко таких людей. У него впереди ничего, только смерть. А тут вдруг я, шикарная женщина. Женщина его мечты. Ему же сейчас тепло. Ну а постепенно он поймет, что ему тут ничего не светит...

Илья Исаакович не звонил неделю. «Зарабатывает на ресторан», – смеялась Улитка. А я не смеялся. Мне все это не нравилось. Мне впервые не нравилось то, что она делает. Прежде я всем восхищался, всему находил объяснение, все оправдывал. Она любит людей только умом, подумал я однажды, а сердце у нее холодное.

Присутствовал я и при следующем звонке Ильи Исааковича. На этот раз Илья Исаакович подготовился лучше, от ресторана не отказывался, то есть дал понять, что дело не в расходах, – волновала же его только его репутация, так как в городе он человек довольно известный и появление на людях с молодой красивой женщиной... «В общем, вы меня понимаете...» Но Улитка не захотела понимать:

– Можно подумать, что это я тащу его в ресторан. Он что, за проститутку меня принимает?

На сей раз никаких конкретных предложений от Ильи Исааковича не прозвучало. Напоследок он спросил, как играет инструмент. Прошло время, и вдруг Илья Исаакович снова прорезался, хотя Улитка надеялась, что он больше не позвонит.

– У вас есть подруга? – спросил он. – Мы тут на пару с одним старичком... Таким же, как я. Приезжайте в гости. Посидим, поболтаем, видики посмотрим...

Так и сказал: «видики».

– Знаете... – сказала Улитка. Интерес к этой истории в ней иссяк, и любезность ей давалась с трудом, – вы меня простите, но я не приеду... Да, я не хожу по чужим квартирам... Да, даже с подругой... И потом, – она тряхнула головой и посмотрела на своих наяд, – и потом представьте, как это будет выглядеть... ну хотя бы с эстетической точки зрения: вы и мы...

Много всякого я забыл, а это помню.

ХIII

Новая Улиткина квартира обустраивалась долго. Еще месяц шастали сварщики, то привозя, то увозя сварочный аппарат да два огромных синих баллона со сжиженным газом.

– Они ничего не делают! – жаловалась Улитка хозяевам, а те уговаривали ее потерпеть и не ссориться, так как из междуквартирной борьбы сварщики извлекали свой интерес. – Пусть хоть ключи мне отдадут, – говорила она, – а то у меня тут коллекция, ценности...

– Представляешь, – рассказывала она мне, – в восемь утра звонок. А я закрылась на защелку, сплю, я же всю ночь рисовала. Я со сна ничего не соображаю, бегу к двери: «Кто?» А мужик за дверью: «Петрович пришел?» Я говорю: «Никакого Петровича, я тут живу». А Петрович – это его бригадир. Бегу спать. Снова звонок. И другой голос, Петровича: «Леха приходил?» Так они и ищут друг друга целое утро. Мне надоест бегать, я открою. И вот один из них сидит на кухне, ждет другого, а я лежу в комнате, заснуть не могу... Они же за месяц ничего не сделали, что же они зарабатывают?

– Что и все мы. Мы же получаем не за работу, а за то, что приходим. Вот они и приходят.

– Они приходят, чтобы выпить. А тут я. А на троих им жалко.

Но однажды позвонила праздничная:

– У меня радость. Плиту приварили. А знаешь, они оказались хорошие мужики. Я их тут чаем поила, с медом. Поиграла на пианино. Нормальные мужики, добрые, простые. Они чуть не раздавили мой коллекционный стул. Дима его на помойке нашел, а мне продал. Ой, в Ленинграде есть такие помойки, особенно если дом на ремонте. Мы с тобой должны как-нибудь походить... В

общем, я им устроила концерт по заявкам, спела три свои песни. Им понравилось. А ключ они мне сами отдали. Я им: «Когда мне плиту поставите?» А они: «Сестренка, не волнуйся, это мы в секунду!» И знаешь, все приварили и увезли баллоны, шланги. Теперь у меня просторно, чисто, хорошо. Можешь приезжать.

Я придумал свой звонок – целую серию звонков в веселом ритме, и она открывала мне, не спрашивая кто, молча выглядывая из-за двери, сонная, теплая, беззащитная, в шерстяном пончо на голое тело, которое когда-то подарил ей безнадежно влюбленный в нее мексиканец из Университета дружбы народов.

Но встречались мы с ней и по вечерам, где-нибудь в центре промерзшего города, чтобы, миновав его заснеженные пространства, оказаться в тепле ее дома. Зимой Улитка почти не зарабатывала, заказов на реставрацию было мало, и Улитка проедала летние портретные заработки.

– Почему ты не хочешь учиться дальше? – спрашивал я, имея в виду институт Репина или Мухомовку, где учились несколько выпускников ее училища.

– А... – отмахивалась она. – Потом. Но на живопись я все равно не пойду, ни на живопись, ни на графику. Ты не представляешь, какие там нагрузки. Всякое желание пропадет рисовать. Это же должно быть радостью, а не наказанием. И вообще это не для женщины. Я буду поступать на искусствоведческий. Хотя, честно говоря, мне это не очень нужно. Основа у меня есть. Остается только совершенствоваться. А там учат не искусству, а мастерству. Прививают школу, даже не прививают, а навязывают. Мне это неинтересно. Вообще, неинтересно все, что навязывают. А так я выбираю только то, что мне нужно. Сама.

Мы стояли возле трамвайной остановки на углу Марсова поля со стороны Садовой и Мойки; в проеме домов, за Кировским мостом и Петропавловской крепостью, холодным малиновым светом истаявал короткий зимний закат, и здесь между вычищенными аллеями и темными кустами сирени малиново отсвечивали поля нетронутого снега, в тени же снег был ультрамариновый; вокруг быстро темнело, и навстречу нам вдоль Лебяжьей канавки Летнего сада напористо мчался наш тринадцатый трамвай, полный жидкого апельсинового цвета, а также тепла от горячих электропечек под дерматиновыми сиденьями. И в трамвае продолжался наш странный разговор о любви, о любви как о чувстве, с которым каждый из нас, в общем, имел дело в прошлом.

Говорилось о том, что любовь – это сильнейшая форма зависимости, радостное рабство, счастье служить своему господину или госпоже, и такая любовь была бы убийственна, если бы не сопровождалась необыкновенным душевным подъемом, когда как бы заново рождаешься, и еще больше – только и находишь смысл своей жизни, пока твоя жизнь в чьих-то руках. Я привел Блока: «Ибо только влюбленный имеет право на звание человека», вспомнил Соловьева с его идеей преодоления в любви своего эгоизма ради себя подлинного... Говорил я, и говорила она, и получалось так, что я напирал на аполлоническое, то есть на гармонически-духовное, светлое начало в любви, а она – на дионисийское, чувственно-иррациональное, темное, хотя, насколько я мог судить, была человеком со спокойной, даже прохладной чувственностью. Эта ее тяга к невыразимому в любви, «несказанному», вполне в духе символистов, отмечал я. И еще я говорил, что чувство само по себе – вещь абсолютно разрушительная и нуждается в присутствии сильного укротителя, то бишь разума. В общем, чепуха на постном масле, когда возбуждение мысли происходит от манипуляций готовыми символами и понятиями.

Наверно, я заморочил ей голову, потому что она вдруг досадливо сказала:

– Напрасно ты меня не слушаешь. Я ведь как говорю, так и поступаю, – и какое-то предупреждение прозвучало в этом, так что я, подобравшись, попытался восстановить в памяти все, что она успела сказать в защиту своей точки зрения. Но только одна ее фраза приплыла из прошлых наших времен: «Мне нельзя влюбляться – от любви я погибну».

Я же в тот раз говорил еще о многом: об искусстве уходить, когда ты больше не нужен, о том, что гордыня сильнее унижения, и, когда ты отвергнут, она не позволяет тебе валяться в ногах, и что тут дело даже не в гордыне, а в элементарном расчете: чем больше унижения ты примешь, тем

меньше у тебя шансов поправить ситуацию, и что только своевременный уход может заставить любовь обернуться тебе вслед, а вымоленная жалость уничтожит последние ее крохи – при этом втайне я имел примером самого себя во время нашего не столь уж давнего разрыва. Но, кажется, Улитка меня не очень-то слушала. «А я нет, – сказала она наконец, – я, наверно, попользу за любовью. Меня будут топтать, а я буду ползти».

Некоторые ее истории были как обмолвки – похоже, ее подмывало рассказать мне все то, от чего она сама же ограждала наши отношения. К полной правде я, по ее мнению, был еще не готов, и она выдавала мне ее гомеопатическими дозами, чтобы я не отравился. Однажды она рассказала мне про двух своих знакомых ребят, высоких и красивых, таких высоких и таких красивых, что это позволяло им, бедным студентам, питаться в дорогих ресторанах за счет богатых теток, к которым они там подсаживались. Платили они, естественно, только тем, что было всегда при них... Об этой разновидности мужской проституции я слышал только в применении к западным нравам, и Улиткин рассказ меня удивил и огорчил. Огорчил – потому что она вроде не осуждала своих знакомых, а только теток в бриллиантах, да и то эстетически: «Представляешь, старая жаба в объятиях Нарцисса».

– Бедные, бедные ребята, – сказал я.

– Ничего они не бедные, – возразила Улитка. – Это ты смотришь на женщину как на женщину. А они пресыщены. Их рано развратили. Красивых мальчиков рано портят. Для них это совсем не то, что для тебя.

Еще как-то она рассказала:

– У меня есть один приятель, эта история так... уже почти закончилась... Он был моим натурщиком. Очень красивый и знает, что он красивый... И, – голос ее возмутился, – ужасно холодный! Так вот, представляешь, я к нему отношусь как мужчина к женщине. Я смотрю на него... Такой экстерьер...

– Экс-терьер – это бывшая собака, – не очень удачно пошутил я.

От всех этих историй на душе у меня только темнело. Да и вообще я продолжал относиться к Улитке с настороженностью, будто часть души так и осталась онемелой, оттопанной, отсиженной, как нога, – вроде бы на месте, а не ощущаешь. А Улитка тем временем все носилась с идеей вовлечь меня в какое-нибудь совместное дело. «Давай выпустим сборник твоих стихов за свой счет. Я сделаю иллюстрации... Давай вместе писать картины – ты готовишь фон, а потом я включаюсь, вытаскиваю из него все, что вижу... Давай вместе собирать модерн...» Но первый же наш совместный визит в антикварный магазин стал и последним – Улитка, чего прежде никогда за ней не замечал, нервничала, раздражалась: я не туда смотрел, не то видел, не мог сразу оценить, врубиться в тему, хотя интерьерный модерн начала века я вроде знал. Но, видимо, моя душа оставалась к нему равнодушной, ее занимала только Улитка, но никак не вазы, не люстры, не криволапая мебель... Проницательную Улитку это задевало. Кажется, впервые рядом с ней я чувствовал себя серым кретином.

XIV

В марте в галереях Гостиного двора появились первые художники, хотя в Москве на Арбате они, как утки, так и зимовали под открытым небом, держа уголь или цветной мелок лиловыми от мороза пальцами; самое удивительное, что и заказчики сохранились и готовы были померзнуть ради собственного изображения. Зимние художники представляли собой один и тот же генотип, устойчивый к любым экстремальным условиям, выживающий в любых обстоятельствах, – они были здоровые, патлатые, с бурными физиономиями и походили одновременно на разбойников, старателей и авангардистов, – загнанный на полвека в подполье, авангардизм, наверно, только и выжил благодаря таким, как они... И вот в галереях Гостиного снова появились засидки художников, и Улитка, поныв: «Они там мерзнут, мои братья», – принялась писать новые рекламные портреты для весеннего выхода на заработки. Она написала женский и мужской портреты «из головы», и оба мне понравились, особенно мужской – он был сделан «а ля прима»,

легко, непринужденно, на одном вдохновении, и хотя в нем было некоторое остужающее дуновение модерна, предпочитающего линии идеальные, какими человеческое естество обладает редко, все же настроение, выражение портрета вырывалось из его стилистики. Это был портрет юноши в профиль – яркого, южного типа, когда глаза, брови, очертание рта, подбородка – все крупно, выразительно, графически совершенно. Это несколько искусственное совершенство преодолевалось вольно нарисованной гривой волос, жестких, плотных, как бы иссиня-черных, как у мужчин Средиземноморья, впереди волосы топорщились, падали на лоб, делая образ современным, узнаваемым и в то же время интимным. Интимность была и во взгляде – задумчивом, ушедшем в себя, обращенным долу, и печальная сосредоточенность, как бы сдерживающая напор чувства, резко контрастировала с чувственным мужским изгибом верхней и нижней губ, развернутых, алчущих.

– Отличный портрет! – радовался я за Улитку. – Ты выросла. Это же не просто лицо, это типаж. Я бы сказал, что это молодой Иисус Христос. Столько нерастраченной молодой жизни в его губах, столько чувственности, а в глазах уже обреченность.

– Нет, он скорее спокойный, – сказала Улитка, – и чувственность тоже спокойная, прохладная.

– Возможно, – согласился я. – И все-таки контраст есть, как в лицах Боттичелли: чувственная экстастика и догмат ума. Но там это противоречие трагично, а здесь только печально. Это мне нравится, за этим какая-то концепция бытия...

– Ну уж и бытия, – смущенно хмыкнула Улитка. Лицо у нее было чуть застывшее. К похвале в свой адрес она относилась недоверчиво, хотя в ней нуждалась, как все творческие люди.

Вечером восьмого марта я принес ей несколько веток пушистой цыплячьей мимозы, и Улитка, поставив ее в вазу, тут же схватила мелки.

– Я подарю натюрморт Диминой маме. Дима такая свинья, сам миллионер, хоть что-нибудь подарил бы матери на праздник. Я сегодня обедала у нее. Прекрасная женщина, ей семьдесят пять, но она не старая, она моложе нас с тобой – живая, жизнерадостная. Она ведь у него профессор, доктор медицинских наук. Дима гораздо меньше ее интеллигентен. Она настоящая ленинградка, блокаду здесь пережила. После блокады тут таких и не осталось.

Работа подвигалась быстро, и уже через полчаса можно было отложить ее и закрепить лаком для волос. Но Улитка все возилась, стремясь передать воздушную среду, озарение, исходящее от желтых шариков мимозы. Я сел за пианино и музицировал, насколько мне позволяли музыкальные годы, проведенные во Дворце пионеров. Лучше бы уж я занимался в изостудии... Тут зазвонил телефон, и Улитка с недовольным вздохом подняла трубку.

– А, это ты, – сказала она. – Здравствуй, – и голос у нее стал такой, что я насторожился. Вроде, это был ее обычный голос и разговор обычный, ни о чем, но я почему-то замер и даже перестал играть. Я было снова потянулся к клавишам, но Улитка сделала какое-то неловкое, смазанное движение свободной рукой, в которой она продолжала держать кусок желтого мелка: дескать, не надо, – и я не заиграл. Было и так ясно, что играть не следовало.

А разговор был действительно ни о чем, но тем не менее – странный, ведь позвонили ей, Улитке, а тему вела она, то одну, то другую, будто боялась непредвиденного.

– Я тут натюрморт рисую, – говорила она. – Да нет... для Диминой мамы... – и я понимал, что тот человек знает, о ком речь.

– Ну а ты все над учебниками корпишь? – говорила она, и я, естественно, понимал, что человек учится.

– Нет... – чуть не страдая, тихо сказала она. И повторила: – Нет, нельзя... – и отвечала: – Потому что нельзя... – и мялась: – Потом как-нибудь...

Значит, человек хотел сейчас приехать и, видно, приехал бы, не будь меня здесь, потому что раз он для этого позвонил, то, стало быть, звонил и раньше, в мое отсутствие, и она отвечала:

«Приезжай». И он приезжал. А на часах было около полуночи. Значит, для него естественно было звонить в эту пору и затем, допустим, полпервого появляться здесь. А мне Улитка говорила, что всех разогнала и что никто, кроме Димы, который помогал ей переезжать, не знает ни адреса, ни телефона. И вот, как последний идиот, я сидел, затаясь перед пианино на одном из колченогих Улиткиных стульев – она любила все шаткое, хлипкое, кривое – сидел, подслушивая абсолютно не предназначенный для моих ушей разговор, и не знал, как исключить себя из него – не красться же на цыпочках в другую комнату... В конце концов я был главнее... По крайней мере, до этой минуты...

– Как там девочки на факультете, все сохнут по тебе? – крутилась Улитка, уводя разговор в безопасную сторону. – Ну как... ты ведь там самый красивый. Не устал еще от них? – она давала мне понять, что звонящий ей не дорог. – Тебе надо женщин постарше... Тридцатилетних, – сказала она, и я почти услышал, как он ответил: «Было». Ему не хотелось говорить об этом скучном предмете, и он сворачивал на свое.

– Ну как-нибудь потом... – смущенно бормотнула Улитка. И радостнее: – У тебя же все время экзамены... Тебе надо заниматься! Да, потом... весной. Как-нибудь увидимся, погуляем по городу. Я Лильку с собой возьму, – Лилька была ее новой подругой. – Хочешь, я тебя с ней познакомлю? Она высокая, на голову меня выше, как раз для тебя. Давай я вас поженю...

Но звонящий этого не хотел, он заговорил о другом, и Улитка съежилась:

– Не надо мне мстить... Я женщина слабая, беззащитная. Как можно мне мстить...

Этот человек был близок с ней – теперь это было ясно как дважды два, – этот человек был очень красив, высок, молод – это был ее натурщик, к которому она, по ее словам, относилась как мужчина к женщине. Интересно, как это? Раздевала и любовалась?

– Там у вас на терапии ты вне конкуренции, – неосторожно сказала она, и сердце мое окаменело. Это был он, тот самый врач, демон-искуситель. Все сходилось, кроме одного – возраста.

– Ну ладно, завтра можем погулять, – сказала она, чтобы он не приехал сейчас. – Я Лильку прихвачу... Зачем? – повторила она вслед за ним, ища ответа. В самом деле, зачем ему Лилька? Лилька – это для меня. Лапшова Лилька на моих ушах.

Улитка так исстрадалась, что вдруг запросилась в туалет... Спасительная идея – как это она ей раньше в голову не пришла?

– Слушай, мне в отсек захотелось, – сказала она и даже стала по-детски переминаться с ноги на ногу, входя в роль. – Ну да, в отсек... Мы так долго говорим... Ну хорошо, хорошо, завтра позвонишь... Ой, больше не могу... Пока! – и она положила трубку.

Она положила трубку, и мы снова остались вдвоем, только теперь это были совсем другие мы. Я бы много дал, чтобы стать прежним. Но кому давать – себе, Улитке? На нее я не смотрел – я не мог поднять голову, чтобы посмотреть на нее. Моя голова весила тонну.

– Уф... – раздался голос Улитки где-то в стороне, и голос этот только подтвердил, что у понятого мной одна версия. – Спина устала... – сказала Улитка, и я знал, что она делает характерное движение – выгибается и сводит лопатки вместе. Я слышал, как она пошла в ванную комнату и открыла кран. Струя воды была в пустую полость ванны, потом Улитка подставила руки, и плеск наполнил комнату. Вода успокаивает... Вышла Улитка, прижимая полотенце к мокрому лицу. Она снова села за этюдник, а я поднялся и стал ходить туда-сюда. И вот я ходил по мастерской и не знал, что мне делать. Можно было жить по-прежнему, и я даже попытался – я остановился за ее спиной и стал смотреть, как она работает, вернее – на ее работу. Но работы я не видел – только несколько цветных пятен. Работа вдруг омертвела, и я сказал:

– Ты стала портить, отложи.

– Да, – бормотнула Улитка, – я потеряла то настроение...

Да и собственное ее настроение явно упало. Но я больше ничего не сказал. Она ждала, что я заговорю, а я ходил и ходил, помня, что я должен вести себя как обычно. Потом я поймал себя на мысли, что я никогда здесь не расхаживал, и попытался вспомнить, что же я обычно делал, – да, обычно я садился на диван и раскрывал какую-нибудь книгу. Так я и сделал. Про книгу вверх ногами писано не раз, но и у меня она перевернулась, и я долго не мог понять, почему не могу прочесть ни строки. Не знаю, сколько прошло времени. Наконец Улитка со вздохом встала, будто закончила, подняла телефонную трубку, набрала номер.

– Дима, это мы, – сказала она. – Я и Игнат. У тебя компания, да? Празднуете? Счастливчики. А мы тут сидим, и у нас плохое настроение... Угу, как сычи... Можно приехать, да? Не поздно? Сколько времени? – повернулась она ко мне, подключая этим поворотом к своему замыслу. – Ну прекрасно, мы приедем. Можем у тебя остаться? Ты нам дашь комнату? Ты прелесть, Дима. Настоящий друг. Ну хорошо, жди нас.

Она положила трубку и сказала бодро:

– Сейчас поедem. Развеемся. А то мне тоже что-то плохо стало.

Я был плохой актер. Все, что я хотел скрыть, само по себе нарисовалось на моей физиономии.

– У Димы и переночуем, – продолжала она, стараясь на обращать на меня внимания. – Там у него несколько человек. Я их знаю, хорошие люди, для тебя даже полезное знакомство. Но если ты хочешь, мы будем только вместе с тобой.

– Это был твой врач? – сказал я.

Улитка перестала суесться, замедлилась, застыла:

– Да...

– Ты говорила, что ему тридцать пять.

– Он просто так выглядит...

– Почему ты мне не сказала, что снова с ним встречаешься?

– Я с ним не встречаюсь... Так, раз в неделю, на улице или в кафе... Вообще-то он мне не нужен, но я же не запрещаю ему звонить...

– Разумеется, – сказал я. – Как можно что-нибудь кому-нибудь запрещать? Мы же свободные люди...

– Зачем ты так, Игнат... – сказала Улитка.

А я, кажется, снова встал и ходил по комнате, руки в карманах. И ее я видел плохо, вообще не видел, вдруг как бы заставая то здесь, то там – будто она все время перемещалась в пространстве.

– Ты должна была мне об этом сказать. Хотя бы из уважения.

– Я бы сказала, сразу сказала, но ты не спрашивал.

– Не спрашивал, – подтвердил я. – Я боялся спросить. Видимо, я боялся услышать правду. Я предпочитал не знать. Что же теперь делать? – я сел и обхватил голову руками. То есть я потом осознал, что уже сижу, поддерживая голову, чтобы она не упала на пол между колен, – осознал, когда увидел Улитку: она медленно подходила ко мне с гримаской сострадания и с пытливостью – готов ли я к тому, чтобы меня пожалели. Не знаю, что она там увидела, но решила только положить мне руки на плечи. Она стояла передо мной, и весь ее стройный, теплый, упругий, легкий, гибкий стан призывал прижаться, забыться, утешиться – стоило мне только податься вперед щекой, лбом, затылком, и она взяла бы меня за руку и повела к постели для замирения или опустила бы тут же, на диван, и я бы все простил и еще просил бы прощения, но я убрал ее руки и поднялся. И мне показалось, что она боится – то ли меня, то ли за меня.

– Что же мне делать? – сказал я, чувствуя, что теперь моя очередь поступать и что от того, как я поступлю, будет зависеть многое, может быть, все. Впрочем, решение созрело мгновенно, в ту самую секунду, когда она закончила разговор с НИМ, – надо было встать и молча уйти. Но прошло уже полчаса, а я был здесь и спрашивал, что мне делать.

– Разумеется, ты свободна, – сказал я. – Но свобода дается для того, чтобы делать выбор. Я думал, ты его сделала. Я думал – ты выбрала меня.

– Ты прав, – сказала Улитка. Теперь она сидела на диване и держала книгу, которую недавно держал я, но не вверх ногами. – Ты прав, я сделала выбор. Но мы взрослые люди... И в общем, я не буду отрицать, что у меня бывают экспромты...

«Даже сейчас?» – вскрикнул я внутри, но она не услышала.

– Экспромты... – повторил я. Это было то самое, чего мне не хватало, чтобы уйти. – Да, конечно... Но я этого не принимаю. Я воспитан иначе. Прости.

Пока я обувался, натягивал куртку, она вышла в коридор и смотрела на меня, прислонившись к стене. Я обернулся к ней, улыбнулся улыбкой сумасшедшего, открыл дверь и побежал вниз по ступенькам. Город, город, зимний, жуткий, укрой меня, пожалей, спаси!

В городе была метель. Пустой метельный город, легкая тяжесть дробно облипающих хлопьев, сонный трамвай из-за поворота – все это было уже столько раз, что больше не имело смысла. А зачем я живу? Можно жить, только если знаешь зачем. Я уже все прожил – и любовь, и измену, и самый смысл жизни, и поиск смысла.

И все-таки ночью я спал, а с утра поехал в музей на службу, а вечером ковырялся в книжках. Книги я давно перестал читать, теперь я просто просматривал их, усваивая десять-пятнадцать страниц – больше и не нужно. Некоторые из них я потом все же прочитывал от корки до корки, но, кажется, ни разу таким образом не добавил ничего к первому впечатлению – оно было самым верным. Я уже подошел к возрасту, когда не читают, а пишут сами. Жажда знать исчерпалась во мне и уступила жажде поделиться. Но делиться было не с кем. Я снова остался один. И стихи писать я не мог. Вот уже год, как я не написал ни строчки. Раньше я знал, что они вернутся. И они обязательно возвращались и заставляли меня говорить на своем языке. Но теперь и это меня не волновало. Я много раз высказался, но это никому не понадобилось. Мир прекрасно обходился и без меня. Я родился напрасно. Я неудачник. Пусть неудачник плачет. Это ОНА и я. Мы второй сорт – поэтому нас и не любят. Жить было неважно. Потому что только влюбленный имеет право... Но я ведь люблю... Так что же я? Зачем бегу от любви? Вожжа под хвост попала? Меня никто не гнал. Я сам. Гордый очень. Не так воспитан. Как же я воспитан? Я воспитан в сталинскую эпоху. В аморальную эпоху строгой морали. Строгость всегда обслуживала аморальные эпохи. Я большой пуританин: или – или. Третьего не дано. Третье – это и есть жизнь. Я не хочу жить. Я хочу жить. Я хочу к ней. Я без нее не могу. Я должен поехать к ней. Я сам себя прогнал. Я сам себя должен вернуть. Как вдруг стало легко, как просто вдруг стало. Она же сказала: «По большому счету он мне не нужен». А я нужен. Очень мы обидчивые. Это очень просто – уходить с высоко поднятым подбородком... Не бороться... Если меня там не будет, мое место займут... Рано или поздно... Я должен мчаться, бежать обратно. Я должен драться. Я хочу жить? Я хочу.

Средство от боли нашлось так быстро, что я сам себе удивился. Кажется, я был в здравом уме, но этот ум проделывал со мной какие-то невероятные фокусы. В общем, все как на ладони: он всеми силами старался избежать боли и работал, работал, крутился, мигая всеми лампочками, пока не находил решение; и он его нашел – вот оно лежало передо мной, тепленькое, чудесненькое: «надо вернуться!» А как с принципами? Ведь есть же у меня какие-то принципы... Нет у меня принципов – то, что я за них принимал, не годилось для жизни. Следовало выпростаться из них ради чего-то нового, иного, до чего я раньше не доходил, не дотягивался. Да, да – мой нравственный порог оказался ловушкой. За ним мерцала тьма. Я должен идти дальше, и лишь тогда я что-то пойму, чего раньше не понимал. Жить – это выламываться из своей вчерашней оболочки, из скорлупы, которая, если вовремя не пошевелиться, может и окаменеть. «Дальше» – это в настоящем означало вернуться.

И тут я запаниковал уже совсем по другому поводу. Мысленно я уже мчался к ней, я уже все забыл и простил, да и было ли что прощать... Но как ей сейчас, что с ней, захочет ли она меня видеть? Или вчера вслед мне она вздохнула с облегчением – ведь я развязал узел, который ей не давался. Может, сейчас там уже ОН... Как же я не подумал об этом? Отправься мы вчера к Диме, как она хотела, – и мы были бы вместе, ночь бы помирила нас – ведь этого Улитка и хотела, потому и увезти из дома хотела, чтобы я не мучился глупой ревностью; пусть даже еще и потому, что опасалась визита того, кто ей позвонил, – разве в той ситуации она не предпочла меня? Боже мой, что я наделал! Я все погубил, я упустил ее, я проспал, гордыня сделала меня дураком. Гордые – чаще всего глупые. Гордость – это предрассудок. Глупость – это верность предрассудкам...

И вот я уже мчался к Улитке, нырял в метро на острове Декабристов и выныривал на Невском проспекте, догонял как раз пересекающий его трамвай, тринадцатый номер, и Садовая улица, несчастная, обнищавшая Садовая, на которую глаза бы не смотрели, казалась дорогой в рай, вот и Никола Морской – как хорошо она говорила про его купола: «Это золотые капли неба...» Вот уже и Лермонтовский проспект... Как грустно, пусто, разоренно здесь, какая глухая привычная бедность, как уныло, как привычно серо мы живем, и все потому, что не знаем, что можно жить иначе, не верим в себя, в свои силы – вот и влачим жалкое существование. Но нет уж, я не из вашей компании, я еще за себя постою! Вот и розовый дом ее цвета детской фланели. Окошки светятся, и ее – с краю – тоже светятся, переливаются, но я боюсь в них заглянуть: будь что будет, если она не одна, если ОН там – то это развязка. Вот и прекрасно. Все надо делать вовремя. Но еще можно повернуть назад. Еще можно ничего не знать. Можно не сталкивать лбами то, что сталкивать не нужно. Но рука моя уже тянется к звонку, и я звоню, я звоню своей серией звонков – коротких и длинных и по замыслу веселых, – пусть ей будет известно, что это я, и, если нельзя, пусть не открывают, затаятся пусть. Не стану же я ломиться в дверь. Не стану. Сделаем вид, что их нет, ее нет. Она ушла, а свет забыла погасить. Она человек рассеянный. Свет есть, а ее нет, и я уйду. Но тут же в коридоре раздался шорох, и дверь, большая, тяжелая, обитая железом и покрашенная сочной коричневой краской, жженой сиеной, резко и широко открылась, будто меня ждали. За ней стояла Улитка – без улыбки, без удивления, без недовольства.

– Я мимо пробежал, – сказал я, – гляжу, свет. Я на пять минут, согреюсь – и дальше.

– Проходи, раздевайся, – сказала Улитка. Она была сдержанна, но не холодна. – Я знала, что ты придешь.

Не помню, о чем мы говорили. Наверно, ни о чем. Я пришел, этого было достаточно. И никого-то здесь, кроме меня, не было. Впрочем, о НЕМ мы, кажется, все же поговорили. Да, ему всего двадцать три... «Он выглядит на тридцать пять», – сказала Улитка. Это его она и называла натурщиком. И с приятелем по ресторанам – тоже он. И это он занимал у нее большую сумму денег и отдал с опозданием на месяц. В общем, она здорово понервничала – ведь он мог и не отдать. Как так? А так – сказал бы: «Ничего, деточка, я у тебя не брал. Где свидетели?» Но он оказался порядочным человеком. Хотя после этой истории она думает о нем хуже. И все-таки возврат денег она ставила ему в заслугу. Я извинился и сказал, что этого не понимаю. Что есть понятия чести и так далее. Но она сказала, что это, наверно, в моем поколении так, а в ее – совсем иначе. Возвращение денежного долга было для нее как бы подтверждением, что, пусть ненадолго, но судьба свела ее все-таки с порядочным человеком. Наверно, Улитке была безразлична его порядочность. Косвенно она как бы оправдывалась передо мной за прошлое. Значит, я был для нее авторитетом, безотносительно к тому, как складывались мои собственные отношения с ней.

Разговор этот придал мне силы и уверенности, и я выдержал свою роль до конца – побыл недолго и как бы заспешил дальше, по делам. Как много у меня дел, помимо Улитки, как много интересных дел! Как страшно я занят! Но вот выкроил минутку. Заскочил.

– А ты приходи, – сказала она. – Я могу дать тебе ключ. Что бы там ни было, ты приходи, ты возвращайся. Хорошо?

Я кивнул ей, я взял ее за руку, я поднес ее к губам.

XV

– Как ты думаешь, – спросил я когда-то свою бывшую жену. – Бог следит за нами? Он знает про нас с тобой? Наказывает? Поощряет? – это было время нашей предразводной маеты, когда нам обоим было тяжело и больно.

– Даже если он есть, – ответила жена, – думаю, ему на нас наплевать.

– Что, мы не заслуживаем его внимания? – обескуражено спросил я.

– Не заслуживаем, – сказала она. – Все, что бездарно, не заслуживает внимания.

Кажется, я нашел тогда какое-то утешение в ее словах. И все же чем, как не его присутствием, ну, не Бога, а некой этической воли, воздающей тебе за все твои поступки, чем, как не этим, объяснить те периоды твоей жизни, когда разомкнутые обстоятельства вдруг становятся в четкий ряд, одно к одному, да так, как не снилось и самому гениальному драматургу? Кто тот режиссер? Случай? Но для случая слишком уж много великолепных находок. Вот мне и кажется, что во вселенских заботах своих этот самый Бог или Эмос, нет-нет да и глянет в твою сторону...

Я продолжал быть с Улиткой, я приходил к ней теперь даже чаще, чем раньше, я водил ее по музеям, по выставкам, я ходил с ней в театр, иногда мы забредали и в кинозал – картина могла быть любой, даже убогой, убожество тоже становилось предметом нашего кайфа. Наши вылазки из ее квартиры всегда были праздником. В квартире же ее что-то оставалось не так, хотя крылатый дьявол, обнимающий женщину, давно перекочевал ко мне, и я с обеих его сторон повесил по акварели с изображением двух северных церквей, написанных мною с натуры, – одна из них, Никольская, занесенная в каталоги ЮНЕСКО, была на Пинеге возле деревни Едома, другая же, а точнее, целых две, – в деревне Чикинской, ниже по течению. По моему замыслу, охранные эти акварели должны были удерживать зло в строгих рамках. Но у себя дома Улитка иногда мне жаловалась:

– Я всегда жду тебя, настраиваюсь, думаю о тебе. Я очень жду тебя и заранее радуюсь... Но ты приходишь и как будто тень приносишь... Ты очень мрачный, Игнат. Какой-то парадокс: когда тебя нет, я отношусь к тебе лучше. А когда ты есть... Почему ты такой нерадостный? Летом ты был светлый, серебристый, а сейчас скучный. Ты не обижайся, но мне часто скучно с тобой.

Однажды я даже вспылил:

– Что ты говоришь! Подумай, что ты говоришь!

И все. Не мог же я растолковывать очевидное. Ей ли не знать, почему я такой. Я был светел, пока был в ней уверен. Теперь же я приносил к ней тень своего открытия и делал это, пожалуй, даже сознательно. Я хотел, чтобы она видела мои терзания – ими я хотел еще больше ее привязать. Пожалуй, я мог бы поднатужиться, чтобы стать прежним, но тогда она бы решила, что с нее все как с гуся вода. А я хотел удержать ее в рамках моральных обязательств и долга. Вот и старался, как умел, поддерживать синдром ее вины передо мной. Чувство вины привязывает ведь не меньше любви. Если она еще не полюбила меня, только вина могла удержать ее рядом со мной. Я был уверен, что она меня полюбит. Она ведь говорила: «Я очень долго привыкаю к человеку...»

Предложенный мне ключ я, конечно, не взял – зачем ее стеснять. Но дверьми занялся: к двери в ванную приделал с внутренней стороны ручку и щеколду, а у незакрывающейся двери из коридора в кухню стесал лишку с торца – мне не нравилось, что, когда Улитка говорила по телефону, голос ее был слышен на лестнице.

– Да пусть слушают, – пожала она плечами, – у меня нет секретов.

И все же я посоветовал говорить за закрытой дверью, потому что наружная, обитая железом, казалось, усиливала звук, как резонатор; кроме того, в ней от старого замка был пустой паз, заложенный лишь картонкой.

– Я тут все распишу, – говорила Улитка, оглядывая стены, потолок. – Я напишу фрески, я знаю эту технику. Я ведь была в Суздале, Владимире, училась у церковных художников. Фреска – это ведь значит «сырая». Это темперные краски по сырой штукатурке. Надо будет заново оштукатурить потолок. Знаешь мою мечту? – дали бы мне какую-нибудь церковь, заброшенную, пустую, и я бы ее реставрировала... Мы бы вместе реставрировали. Я бы взяла тебя в помощники.

– А как хозяйева? – спросил я. – Не против потолка?

– Наоборот. Они даже рады. У кого сейчас найдешь фрески в квартире... Я же не возьму их с собой. Гойя весь свой дом расписал.

– Это самые мрачные его работы. Их так и называют – «черные».

– А у меня будут светлые. Только у меня мало темперных красок. Надо нам с тобой поискать.

Улитка, Улитка, как она хотела объединиться со мной в общем созидании...

– А то ты там где-то у себя пишешь, пишешь... А меня нет. Самое интересное ты делаешь без меня. А потом приходишь, и я вижу, что ты устал и тебе не до творчества, ты уже выговорился. Ты приходишь пустым. Я ведь чувствую. И я вроде должна развлечь тебя – я начинаю суетиться, что-то выдумывать, чтобы тебе стало хорошо. И свое не делаю. У меня, знаешь, слишком развито чувство долга: если человек рядом со мной, я должна с ним возиться, иначе я не могу...

– Да что ты! – возражал я. – Мне ничего не нужно, и внимания твоего не нужно. Я сам люблю за тобой наблюдать – как ты рисуешь, пишешь. Ты занимайся собой, не обращай на меня внимания.

– Нет, я так не могу, – качала она головой. – Я ведь женщина.

В тот вечер мы не договаривались о встрече, мы встречались накануне, и все было хорошо. На ночь я не остался, Улитка сказала, что будет всю ночь рисовать и что раньше полудня звонить не надо – она будет спать. Я и не звонил – охранял ее сон. Я видел ее спящей в теплой, темной, занавешенной комнате; телефон, надеюсь, она оставила на кухне, накрыв подушкой, она и так постоянно недосыпала, и тогда у нее болела голова и ее мучили кошмары. Бега с утра по своим делам, я был полон нежности к ее сну и ненависти к потенциальным его нарушителям, а когда ненависть исчезла, я понял, что она проснулась, – вот она умывается в ванной, сидя на корточках, подставляя под струю свое дивное смуглое тело – розовы только узенькие пятки. Иногда она мылась при мне, и я ждал, пока меня позвонит: «Игнаша, потри спинку...» В старой ее квартире мне тоже случалось принимать ванну, она водила по моей спине намыленной губкой, купленной в Грузии, и в эти мгновения я чувствовал себя мальчиком – маленьким, согретым, защищенным. Ее жизнь, даже в мое отсутствие, шла перед моими глазами: вот она обедает, вот пошла по магазинам – дома у нее хоть шаром покати, и я обычно без продуктов не появляюсь. А если она сама их покупает, то говорит, что из-за меня: ей на день хватает корки хлеба и нескольких ложек меда, за которым она, сладкоежка, готова съездить на рынок. Постоянно воображать, чем она сейчас занята, стало для меня привычкой, скорее даже потребностью – это притупляло чувство одиночества, когда мы были порознь. Да и сказано: быть любимым – это состоять под наблюдением.

И вот в тот вечер, точнее – в какое-то мгновение вечера, я почувствовал, что теряю ее образ, как будто передо мной погас телевизионный экран, и я вдруг испытал приступ смертной тоски. Это случалось – когда я не хотел жить, но я знал, что это проходит. Однако тут нахлынувшее отчаяние было, я чувствовал, каким-то образом связано с Улиткой, и я позвонил ей, уверенный, что она поможет, как многожды помогала. Было занято, и, не в силах дожидаться, я помчался к ней.

Надо сказать, что последнее время, когда бы я ни приходил к ней – утром ли, вечером, – меня преследовала мысль, что рано или поздно я столкнусь с НИМ, этим человеком, который ей «не нужен по большому счету», но почему-то продолжал присутствовать в ее жизни. Хотел ли я встретиться с ним вот так, случайно, на лестнице или в Улиткиной мастерской? Пожалуй, да. Мне

хотелось увидеть его. Мне бы хватило взгляда, чтобы понять, с кем я имею дело, – я хотел знать опасность в лицо. Вот и теперь, чтобы не обнаружить себя раньше времени, я попридержал внизу парадную дверь, которая благодаря своей мощной пружине срабатывала, как катапульта. Пружина, недовольно прорывав, пропустила меня, и я ступил на ступеньку лестницы – их, этих ступенек, было тринадцать до Улиткиной двери. За нею с кем-то говорила Улитка. Я напряг слух, чтобы услышать – в этом уже не было сомнений – ответный мужской голос, но тут же понял, что она говорит по телефону, и еще понял, догадался, что это тот самый разговор, на который я наткнулся еще сорок минут назад, когда звонил. Я ехал, а он продолжался, и не было ему конца. С кем же можно так долго говорить – только с тем, у кого ключ к нашей душе. Я тихо поднялся, протянул руку к звонку и увидел, что она дрожит. Оказывается, меня трясло как в лихорадке. Рука моя опустилась. Я стоял и слышал голос Улитки. Много разных ее голосов я уже слышал, но такой – впервые... Голос, в котором были страдание и мольба и какая-то страстная заклинаящая нежность, и еще многое, многое...

– Почему ты так редко звонишь? – говорил этот голос. – Я страдаю, места себе не нахожу... целыми днями только и делаю, что жду, жду, жду. Я так больше не могу... Нет, я ни о чем тебя не прошу. Не смею просить. Только не забывай меня, хорошо?... Твои родители? Я знаю, они против меня. Они считают меня проституткой. Они думают, что я тебе сломаю жизнь, карьеру. Нет... Нет... Нет... Они правы. Тебе нужна другая жена. Но я не могу без тебя. Не могу, слышишь? Я умираю, когда тебя нет рядом. Не знаю... Не знаю... Не знаю... Все равно ты лучше меня не найдешь. Да... Да... Ты сам это чувствуешь. Я не знаю, что делать. Я ничего не знаю... Я не понимаю... Не понимаю...

Далеко не все слова я слышал, скорее, догадывался о них по Улиткиной интонации, и более того – догадывался о словах, которые говорились ей. Не помню, почему я сел. Наверно, ноги отказались меня держать. Я сел, прислонившись плечом к двери. Прямо против лица была дыра от вынутаго замка, заложённая картонкой. Голос Улитки стал еще явственней. Меня продолжало трясти, все тело ходило ходуном, и я стиснул зубы и крепко обнял колени, чтобы унять дрожь, загнать ее вовнутрь.

– Ну почему, – страстной мольбой звучал Улиткин голос, – почему все так несправедливо? Почему ты бросил рисовать? Почему Бог не дал тебе творческого дара, а другим дал? Они... – (о, это «они», произнесенное с таким холодом отчуждения, что я его никогда не забуду, – ведь в числе «их» был и я!) – ...они творят, им все дано, счастливым... а тебе ничего.

Да, один из таких счастливых сидел рядом, под дверью, униженно подслушивая, не в силах встать, распрямиться и распорядиться своей судьбой хоть с толикой достоинства.

Тут снизу раздалось шарканье, дверная пружина зарычала, и я вскочил и заметался, как затравленный заяц. Все, что я смог придумать, – это встать лицом к двери и заняться содержимым собственных карманов. Я стоял спиной к тому, кто поднимался мимо по лестнице, и как бы что-то усиленно разыскивал – сигареты, хотя я давно не курил, извещение о посылке, повестку в суд или квитанцию с собственных похорон. Шаги за мной смолкли, дверь наверху захлопнулась, и я снова сел, приник ухом к дыре.

– Нет, мы не расстанемся, – звучал голос Улитки. – Я без тебя погибну... Угу... Хорошо... Я согласна... Угу... Когда у тебя будет время... Не оставляй меня надолго одну... Я согласна. Пусть твои друзья меня охраняют, чтобы никто не приставал... Хорошо... Хорошо... Только умоляю – звони мне... Ну хорошо... Хотя бы через день... Ты же знаешь – я всегда дома, я всегда жду... Хорошо... До свидания... До встречи... – и последнее, нежное, страстное, тихое, молящее:

– Я люблю тебя...

Все. Разговор был окончен. Трубка опущена, а за нею и занавес. Нет, занавес остался на весу во тьме колосников, как нож гильотины. Теперь был мой номер, мой выход. Зал затаил дыхание: как же поведет себя герой-любовник, с которым так нехорошо обошлись? Ну там красивые ветвистые рога – это само собой, но даже не в них дело, не в них, господа! Одни я уже скинул, отвалились бы и эти. Но... что же теперь делать? Задержись этот чертов трамвай на десять минут – и я бы ничего не узнал, и мы остались бы вместе, пока когда-нибудь то, чего я не узнал, не

разрешилось бы само собой. Значит, так: позвонить сейчас в дверь как ни в чем ни бывало и дружить, любить дальше с одной только поправкой: я все знаю, все примечаю до судного дня, когда наконец потребую объяснений: «А теперь расскажите, чем Вы там занимались с часу до трех пополуночи?» Нет, на такой вариант я не тянул, это не мое – мне оставалось быть самим собой. Это означало, что я не знал, что же сейчас произойдет. Я заставил себя поколебаться, как будто был еще какой-то иной выход, и нажал кнопку звонка. Между тем, как Улитка положила трубку, и этим звонком прошло разве что одно мгновение – на паузу у меня не было ни сил, ни рассудка. Не знаю, как бы я себя повел, случись рядом друг, – возможно, дал бы себя утащить подальше, на свежий воздух. Возможно, придумал бы что-нибудь. Решения надо принимать на свежую голову, с утра, натошак. Однажды под впечатлением сна, заставившего меня заплакать, я позвонил бывшей жене, с тем чтобы она вернулась ко мне; к тому времени она была снова замужем, и мне уже было отказано видеть дочь. Я позвонил, но телефон не отозвался. А потом я уже звонить не захотел. Ну да о чем это я? Короче, я позвонил – и Улитка тут же открыла. Она увидела меня и не улыбнулась. Лицо ее было напряженным и даже агрессивным, какими бывают наши лица, когда мы поставлены перед необходимостью защищать то, что нам дорого. И еще – лицо ее было испуганным, или так: на лице Улитки была досадливая тревога, было предчувствие чего-то нехорошего, что я принес.

– Добрый вечер, – сказал я. – Это снова я... Прости, что не предупредил. Я звонил, но у тебя было занято.

– Да, тут долгий разговор... Я об одной коллекции договаривалась, – сказала Улитка, даже не постаравшись, чтобы ее слова прозвучали убедительно. – Раздевайся, проходи...

– Может, я помешал? – сказал я.

– Да раздевайся ты... – сказала она и, посмотрев мне в лицо, тяжело усмехнулась. – Ты все от ревности с ума сходишь... – И, еще раз посмотрев: – Что с тобой?

– Все нормально, – сказал я. – Чаем напоишь?

– Конечно.

– Ужасно хочется чаю, – сказал я, потирая руки, и прошел на кухню. Телефон – мой палач – невинно стоял на антикварном столике, выполнив свое черное дело. – Чаю и покурить. У тебя случаем нет сигарет?

– Что с тобой, Игнат? Ты же не куришь.

– Ужасно хочется сигарету. Неужели нет? У тебя же все друзья и подруги курят. А... вот! – На подоконнике, как семейство поганок, торчала стайка вжатых в пепельницу сигарет. – Вот и курево! Надеюсь, среди твоих друзей нет спидоносцев?

– Зачем ты так? – почему-то вспыхнула Улитка.

Нет, у меня и в мыслях не было обижать ее друзей. Странные обиды...

– Прости, – сказал я. – Это от недосыпа. Ночью мало спал, мозги перекрутились. Щас покурю и...

Улитка молча следила за мной – как я искал спички, как, чтобы не обжечь пальцы, двумя спичинками держал у губ сигарету: это у меня еще с армии – докуривать подчистую. От пары жадных затяжек голова закружилась.

– Ну вот, – выдохнул я и провел рукой по лицу. – Теперь можно... Я пришел, чтобы сказать тебе нечто важное... Важное для нас обоих. Я все думал: говорить – не говорить? И решил – надо сказать...

– Что случилось, Игнат?

– Я все слышал.

– Что ты слышал?

– Весь твой разговор. Прости. Я не мог его прервать. Говорил же – закрывай кухонную дверь. А ты не закрыла. Да и дырку я не успел забить... И все слышал. Это нехорошо – подслушивать. Я дико извиняюсь. Но это меня Бог навел, черт бы его побрал! Ты любишь другого человека. Только что ты призналась ему в любви. Это прекрасно – любить. Прекрасное чувство. Поздравляю. Это большой подарок – любить.

Я поднял на Улитку глаза – она смущенно и легко улыбалась:

– Ты правда слышал мой разговор?

Я кивнул.

– И давно стоял у двери?

– Достаточно, чтобы все понять.

– Но это не совсем так... Точнее, совсем не так...

– Что?

– Я не так уж люблю его. Это слова. Знаешь, под настроение, под одиночество я могу все что угодно наговорить. Сидишь тут одна целый день...

Господи, Боже мой! Она еще что-то отрицала! Но я вдруг за это уцепился – уцепился, ухватился за эту ниточку и потянул, потянул...

– Под настроение? Ты хочешь сказать – это была игра?

– Конечно, – небрежно пожала она плечами. – Ты же знаешь, я игрок.

Что я слышал?! Что она говорила?! Я помотал головой, чтобы стряхнуть наваждение. О, женщина! Она уже верила своим словам – она не хотела меня терять, она не хотела причинять мне боль, она отыгрывала назад! Я был рядом, и она хотела, чтобы мне было хорошо и покойно, потому что сейчас, сию секунду я был ближе, чем тот человек! Она сострадала мне, жалела меня – она хотела меня утешить.

– Кажется, понимаю, – сказал я, вдруг словно озарившись пониманием человеческих отношений как некой чудесной игры, где любовь достается тому, кто рядом. Есть ближние, есть дальние – и ближний всегда выигрывает. Как отрадно было видеть, что она не хочет меня терять. Все-таки я что-то значил в ее жизни. Но что именно?

– Я бы тебе даже поверил, – сказал я, – если бы не слышал, как ты говорила, твой тон, твою интонацию. Какая самоотдача! Это, дорогая, был голос любви. Я давно живу и кое-что уже знаю. И голос любви я не спутаю ни с каким другим...

И тут я почувствовал, к ужасу своему почувствовал, что я гораздо ближе к истине, чем она, и что теперь мне остается только уйти.

Она молчала. И я снова заговорил:

– Перед любовью я снимаю шляпу. Я третий, который лишний. Я сейчас уйду. Это все, чем я могу вам помочь. Женитесь... Что вам мешает пожениться?

– Я не собираюсь жениться, – сказала Улитка. Она была единственной из встреченных мною женщин, которая путала эти два понятия: жениться и выходить замуж.

И что-то я еще говорил, чтобы потом не жалеть, что не сказал.

– У Лорки есть пьеса, – говорил я. – Старику достается юная красавица жена, он счастлив, но наутро он обнаруживает, что она любит не его, а юношу в красном плаще. И он устраивает ей свидание, переодевшись в красный плащ, и убивает себя на ее глазах, чтобы унести ее любовь к себе – юноше. Я себя не собираюсь убивать, но если мне удастся помочь вашей любви, это и будет смерть моей...

– Ничего не нужно делать, Игнат, – задумчиво сказала Улитка. – Совсем не нужно...

– Ну, тогда я просто ухожу, – сказал я.

– Ты лучше меня не найдешь, – сказала она.

– Я и не буду искать, – сказал я.

– Я все равно буду стоять между вами, как Медуза Горгона, – сказала она.

– Пусть так, – сказал я.

– Все равно мы когда-нибудь столкнемся на Невском, когда я буду рисовать, и я захочу к тебе, и все начнется сначала...

Значит, она поверила, что сейчас я уйду, и уже приняла мою жертву... Это самолюбиво зацепило меня остаточной болью, и я сказал:

– Едва ли...

XVI

Cerco tiene la luna, ,
Mi amor ha muerto,
В светлом кольце луна, ,
Моя любовь умерла.

Кажется, я улыбался. Я шел по улице и улыбался. Поражение было полным и окончательным, и мне ничего не оставалось, как смиренно принять его. Я чему-то радовался. Видно, тому, что все встало на свои места. Это очень важно, чтобы все было на своих местах. Только тогда и понимаешь, что такое жизнь и что ты сам в ней. Это как бы минуты прозрения – да, они горьки, но одновременно и радостны, ибо приоткрывают тайну бытия. Вот чему я радовался, но уже осторожно спрашивал себя: неужто так просто все кончилось, без боли, без муки? Чтобы не было больно, надо все понимать – вот ключ, которым открывается дверь в эту мистическую иррациональную землю – любовь. Понимай все и не заблудишься. Смело иди вперед, держа разум как факел перед собой, и можешь быть уверен – ты придешь к выходу. К какому выходу? И зачем мне выход? Куда я ухожу? Разве я собираюсь жить без любви? А зачем она? Зачем эта жуткая рабская зависимость? Лучше уж жить спокойно, владеть собой. Любовь – это потеря контроля над собой и жизнью, это телячий восторг, это когда по бурной реке, через пороги и аж захватывает дух... Но плывешь-то не сам, тебя несет, сносит неведомо куда, а ты радуешься скорости, с которой тебя несет к собственной гибели. Любовь – это гибель в конце. Ах, как интересно все-таки жить! Ничего-то нельзя загадать наперед. Рассчитываешь на одно, а получаешь другое. Все потеряно, все кончено, но это только-то и значит, что все начинается сначала. Погибнуть – это начать сначала. Что-то теперь впереди? Целых полгода я жил будущим, которое сложилось из наших с Улиткой отношений. Оно меня радовало, оно внушало уверенность в сегодняшнем – и вот его нет. Но так ли уж это плохо? На месте будущего было белое пятно, загрунтованный белый холст. Что-то я на нем начну... Все-таки удивительно – никакой боли, даже радость... Видимо, в душе я холостяк. И в критические минуты все же предпочту свободу одиночества. Я странник. Я должен быть один. Сама жизнь устраивает так, чтобы я этого не забывал. «Не надо иллюзий! – пропел я сам себе. – Никаких иллюзий, мой мальчик!» Да здравствует свобода! Нет, все-таки есть в этом что-то, когда тебя бросают! Когда ты сам бросаешь. Как это нынче в газетах говорят – «судьбоносный момент». У тебя, мой дорогой, судьбоносный момент. Твоя судьба твоих руках.

Больше ее некому нести. Неси один, сам, без посторонней помощи. Как это глупо, даже бездарно, – рассчитывать в жизни на кого-то, кроме себя самого. Если ты не можешь построить свою жизнь, свое счастье, ну, не счастье, но свою гармонию, свое спокойствие один, без посторонней помощи, значит, с тобой не все в порядке. Хорошо об этом у Сенеки: «Ты спросишь: чего я достиг? Стал самому себе другом». Вот единственно верный путь. А я все ищу друзей на стороне.

В общем, это был бред сивой кобылы, шок. А потом пришла боль. И когда она пришла, я взвился как ужаленный. И все полетело к черту. Увы, разум вторичен. Не разумом мы живем. Сначала было чувство. И вот оно что – я знал, что стоит мне позвонить Улитке, как боль исчезнет. И на следующий день я позвонил.

– Приезжай, – сказала она.

И я приехал. Я был у нее дома, я сидел на ее диване, пил ее чай и смотрел на развешанные вокруг ее картины, и больше мне не надо было ничего. Но так много слов сказано было вчера, и так они мешали, путались под ногами, что я должен был найти теперь какие-то другие слова, которые объяснили бы ей, но прежде мне самому, почему я здесь, несмотря ни на что... И я их нашел. Наверно, я не прав, сказал я. Наверно, я что-то еще не понял. Я не могу уйти, не поняв, – все-таки я поэт, не просто человек, я живу две жизни и из одной, жизни поэта, смотрю на другую, жизнь простого человека. И мне, поэту, этот человек непонятен, не совсем понятен. Оказывается, я не знаю, что такое любовь, хотя думал, что знаю все. Когда-то мне жена сказала, что нет в любви ничего сильнее, чем унижение любви. Теперь я ее понимаю. О, это огромная страсть! А я любопытен, вернее – поэт во мне любопытен. Ему хочется знать, что будет дальше, ему хочется, чтобы я прошел по самому краю этой пропасти и заглянул в нее – я ведь еще не знаю, как там, на краю, пока я лишь скатился по снежному склону, отказавшись от борьбы. А теперь я вернулся, потому что хочу бороться. Я буду бороться за любовь и за Улитку. И вот еще что: я не могу бросить Улитку, потому что это означало бы предать ее талант. Я, взрослый, сильный, умудренный опытом человек, к тому же имеющий какие-то нужные связи, каких-то полезных знакомых, должен помочь Улитке стать большим художником. Я же обещал ей с организацией ее выставки. Как она будет без меня? Вот оно – мне даже не личное важно в наших отношениях, а то надличное, надэгоистическое, что зовется родством душ: мне дороги ее картины, ей – мои стихи. Наши музы дружат помимо нас самих, помимо дрызг нашей рутинной жизни. Так, сидя у Улитки, я понял, что я буду здесь всегда, и нет силы, которая бы меня прогнала.

– Да, ты прав, – сказала Улитка. – Я тебя хорошо понимаю, – и что-то добавила в том смысле, что я должен бороться за нее, если я настоящий мужчина, что именно так, в моей борьбе за нее, она и сможет наконец сполна меня оценить.

– Если честно, – сказал я, – то я уверен, что ты будешь со мной. У нас есть будущее – я это чувствую. И никто нам не преграда. Откровенно говоря, я не чувствую твоего врача своим соперником.

– Вот видишь! – похоже, даже обрадовалась Улитка, что я сам все решил, дошел своим умом до всего.

Я был счастлив. Я улыбался ей, она мне.

– Ну, а Бадри мы пожалеем? – сказала она, впервые произнеся вслух имя своего заглавного приятеля, и я не стал задумываться над тем, что она имеет в виду. Моего превосходства над ним мне было достаточно, чтобы не обращать внимания на мелочи.

Однажды в театре, на балете, в антракте, сидя в красивом кресле рядом с красивой Улиткой и остро чувствуя ее близость после только что пережитого чуда человеческой пластики, я наклонился к ней и сказал:

– Я все понимаю. Ты ничья. Ты и должна оставаться ничьей. В этом твоя талантливость. Я не помешаю тебе.

– Какой ты мудрый, Игнат... – посмотрела на меня Улитка, и я, растроганный своим открытием, прочел в ее глазах восхищение.

Прямо как в пьяном анекдоте: «Раньше я тебя уважал, а теперь я тобой восхищаюсь».

XVII

Тут и приехал ее отец. Приезд был связан с поиском для него невесты в Ленинграде, и просьба Улитки помочь ей в этом сильно, на мой взгляд, укрепляла мои позиции. После смерти бабушки семья Улитки мгновенно распалась, и сдерживаемые до того страсти выплеснулись наружу. Мать Улитки решительно переложила руль своей жизни и оставила мужа за бортом – тут же выгнав его из квартиры, где поселился ее задушевный друг. И отец Улитки как человек мягкий и покладистый пошел жить в бабушкином доме, который по завещанию принадлежал Улитке. Алексей, так его звали, зарабатывал прилично, не пил, не гулял на стороне и для него было открытием, что их супружеская жизнь не удалась. Конечно, он был огорчен, но горем не убит, ибо был не от мира сего, чудаком-человеком, со всякими там космическими наворотами, и жил в свой интерес. Улитка говорила, что у него всегда хорошее настроение. Особенно когда обстоятельства были против него. Тогда он что-нибудь напевал себе под нос и улыбался. Он никогда ни на что не жаловался, хотя окружающую жизнь не принимал, заменив ее жизнью внутренней. Таких жизней у него было несколько. Одну из них он прожил рядом с дочерью, уча и учась. Около нее он овладел нотной грамотой и стал играть на фортепьяно, около нее же он занялся живописью, ну а сочинять стихи – это уже от него самого. Он был ее лучшим другом, вместе им было всегда интересно.

Признаться, поначалу я был несколько обескуражен нашей встречей. Алексей оказался вовсе не тем интеллигентным недотепой, какого рисовал я своим друзьям, спешно подыскивающим для него пару. И не инженером-электронщиком, как рассказывала Улитка, а всего-навсего электриком; правда, у него были золотые руки, и что-то он там действительно мастерил, но я сильно засомневался, что невесты с высшим техническим образованием, а таков был мой заказ, найдут с Алексеем общий язык. План же Улитки был такой: женить Алексея на ленинградке, а на деньги, вырученные от продажи бабушкиного дома, построить под Ленинградом собственное жилье. Тут как раз в связи с новыми веяниями нашему музею выделили садоводческие участки в пригороде, я тоже оказался в списке, и Улитка радовалась:

– Сначала мы построим твой дом, а потом будем строить мой. Ты не обижайся, но я хочу иметь свой собственный. Я хочу быть независимой от тебя, ты должен меня понять.

Я готовно кивал, но в сердце своем считал, что и одного дома нам хватит с лихвой на всю оставшуюся жизнь. Однако обещал Улитке, что и для нее выбью участок, надо только ей попасть нашу систему, хоть уборщицей. Вот так спланировали мы совместное будущее под одной или двумя крышами, и приезд Улиткиного отца был первым пунктом нашего замысла. Улитка меня представила.

– Слышал, слышал, – шагая по комнате, закивал Алексей, по-птичьи, сбоку поглядывая на меня, как бы еще в легком смущении, хотя мы с ним сразу перешли на «ты».

Я очень хотел, чтобы он мне понравился, и он мне понравился. Словно почувствовав мое старание, Улитка сказала: «Ничего, я его отмою, переодену, подержу в Ленинграде, и он будет первый жених».

Ко мне Алексей отнесся скорее терпимо, чем дружелюбно, я его мало заинтересовал, да, наверно, и возраст мой его не устраивал, я был всего на два года моложе его, но на данном этапе это было не главным, и мы сразу заговорили о деле, ради которого он приехал. Видно было, что намерения его серьезны:

– Ну, когда встреча?

Я сказал, что через день. По правде сказать, я был озадачен – я опасался, что невесты меня не поймут, и решил взять тайм-аут, чтобы обдумать ситуацию. Надо было их подготовить, сообщить

им что-то в противовес уже сказанному, вернуть их к суровой реальности. Ох, Улитка, Улитка, опять она меня подвела. Впрочем, разве дочери могут быть объективны.

– Ну как? – улучив момент, когда мы остались одни, спросила она. – Он, конечно, такой неотесанный, деревенщина...

– Что ты! – с энтузиазмом ответил я. – Отличный мужик! Единственное... – я замялся. – Он действительно негородской...

– Я сделаю его городским, – сказала она. – Он поживет у меня с недельку, и я его сделаю.

– Да, да, нужно его немножко подготовить, – сказал я. – Надо потратить на него время. Если его сейчас показать невестам, боюсь, мы только испортим дело.

– Конечно! – загорелась Улитка. – Ты прав. Сейчас его показывать не будем. Надо походить с ним по магазинам. Приодеть. А то он приехал в какой-то дурацкой куртке... Ты видел его куртку? Надо его приодеть. Он привез мне деньги от бабушки. Часть моего наследства. Нет, не все. Знаешь, он этих денег боится. Он боится, что я их растрачу. И сам боится их держать. Он не привык к таким суммам. В общем, я должна его убедить, что у меня все нормально. Чтобы он поверил. Тогда он отдаст остальное. Значит так, завтра мы пропускаем, а послезавтра... Знаешь что, ты приведи сюда. Ну, одну из тех. И чтобы мы были рядом. Тогда он произведет более выгодное впечатление. Мы создадим обстановку. Я наведу марафет, выступлю тут первым номером. Если папа воспитал такую дочку, значит папа стоящий. Картины свои развешу, на пианино поиграю. Ты будешь создавать интеллектуальный фон...

Мы принялись фантазировать, от смеха сгибаясь пополам.

Вечером мы втроем гуляли по городу. На праздном Невском, хоть и сильно уступающем Елисейским полям, но все-таки почти европейском, почти столичном, Алексей вроде как оробел и слегка отвалил вбок и назад, как неравный нам, представителям белой кости и голубой крови. Улитка была в одном из сумасшедших своих нарядов, как всегда на нее глазели, и то, что ее отец бежал сзади, как станционный смотритель, ее, похоже, ничуть не смущало. Но мне стало неловко:

– Послушай, что такое, позови его.

Улитка взяла отца насильно под руку, хотя он отмахивался, как мальчишка, бубня, что сзади ему удобней, – она взяла его под левую руку, а под правую – меня, и так мы зашагали рядом, странная троица, объединенная разве что сверхъестественными обстоятельствами. Они и были сверхъестественны...

– Мне эта жизнь не нравится, – продолжал Алексей начатый еще дома разговор. – Я бы хотел, чтобы меня взяли в другую цивилизацию, куда-нибудь на Альфа-Центавра. Там, у них, – он так уверенно произнес это последнее слово, будто и не сомневался что «они» есть, – у них наша стадия пройдена тыщу лет назад. Мы для них дикари, поэтому они не вступают с нами в контакт. Они даже не могут поделиться с нами своими знаниями – это все равно, что неандертальцу подарить компьютер. Мне скучно жить у нас.

Я поначалу возражал, в том смысле, что недовольство настоящим должно быть конструктивным, деятельным, исправляющим жизнь к лучшему, раз другой реальности не дано, а потом подумал, что ведь и я тоже выключил себя из жизни, погрузившись в искусственную сферу культуры, то есть вторую реальность, я отчеркнул себя кругом от жизни, как гоголевский Хома Брут – от нечистой силы. Но надолго ли?

– Приезжай, – позвала меня Улитка на следующий день, – помоги справиться с тортами. Тут папа накупил всего. Он у нас сладкоежка... – и по удалению голоса в трубке я понял, что она обернулась к нему. В ответ раздался невнятный грубоватый басок Алексея, и заиграло пианино.

– Это он играет? – спросил я.

– Да, с самого утра. У меня уже голова болит... Как там наша невеста? Я его тут шампунем вымыла. Волосы феном уложила. Такой красивый... – и Улитка снова обернулась к отцу. Пианино заиграло громче.

– Невеста завтра не может, – соврал я. – У нее вечером дежурство в народной дружине. – Дело в том, что, хоть я уже и передал свои непосредственные впечатления друзьям, однако ответа невесты не знал и тянул время.

– Ну, хорошо, – сразу перестроилась Улитка. – Тогда я завтра свожу его в Эрмитаж. Чтобы добавить ему в глазах духовности. Пойдешь в Эрмитаж? – обернулась она к отцу.

От тортов я отказался и не поехал, хотя и хотелось. Мне всегда хотелось к Улитке.

Наконец друзья передали мне просьбу невесты выйти с ней на прямую связь, то есть позвонить. Что я и сделал. Я знал – ей под сорок, маленькая, но спортивная: зимой – лыжи, летом – байдарка, инженер, была замужем, но давно развелась, детей нет, характер сильный, козерог, любит дом, хозяйство, живет с престарелым отцом, который уже впал в маразм, так что долго не протянет, а вообще-то там двухкомнатная квартира... Голосу я придаю большое значение, может, даже большее, чем он заслуживает: во-первых, это социальный информатор – из каких-де вы слоев общества; во-вторых, он индикатор мировоззрения и нрава, ну и, конечно, образованности. Так вот, голос Галины, так звали нашу инженершу, произвел на меня хорошее впечатление – в нем была собранность, деловитость и начитанность. В нем также звучало, что от этой жизни многого ожидать не приходится, минимум романтизма, максимум трезвости, и еще – он был интеллигентным. Тут я еще больше закомплексовал и уже стал жалеть, что ввязался в эту историю. Тоже мне, Гименей. Улитка, конечно, дала маху – так не знакомятся и так не знакомят. Я извинился перед Галиной за неточность предварительной информации и, как на духу, выложил ей все – и наблюдения и соображения. Это был разговор равных. Однако лейтмотив у меня был четкий: мужик что надо – жаль вот только, что неотесанный. И вдруг, не веря собственным ушам, я услышал:

– Ну, разве это главное – манеры... Если он хороший человек...

Жар прилил к моим щекам, а уши позабыто, по-детски налились свечным пламенем. Это был голос женщины, отчаявшейся в одиночестве, женщины, еще полной нерастратченных сил любви. Она уже видела его по-своему, помимо меня, и от меня его защищала!

– Она согласна! – радостно извещил я Улитку.

– Когда? – нетерпеливо спросила она.

– Завтра, после работы. Договорились, что я ее встречу и к вам привезу.

В пять вечера я встречал ее на станции метро «Маяковская», наверху, у разменных автоматов. Я описал свою внешность, а она свою. «Я буду в белом песце», – сказала она, и я решил, что уж песца-то не пропущу. И все-таки она узнала меня первой и сама подошла. Тут я должен сделать паузу, ибо, увидев, что именно эта женщина направляется в мою сторону, я стал умирать – нет, это ошибка, мы так не договаривались. Но она уже подошла и представилась.

– Как вы меня узнали? – глупо спросил я.

– Ну, это нетрудно, – усмехнулась она. – Интеллект... – все на вашем лице. Не спутаешь.

Наверно, я инстинктивно спросил про себя, чтобы не говорить про нее. Увы и ах, она мне не понравилась. И лихорадочные мысли уже в другом, противоположном направлении простреливали мой мозг: как я покажу ее, что обо мне подумают? Мне всегда казалось, что у ленинградока есть особая мета, а тут... Словно она приехала в том же поезде, что и Алексей, только в другом вагоне. Она подошла, глядя на меня потухшими глазами, с мертвой собачкой на плечах, почему-то названной белым песцом, в немыслимом берете, в ядовитом облачке каких-то тошнотных духов, и недоверчиво, безжизненно улыбнулась:

– Вы Игнат? Здравствуйте, я Галя...

Всю дорогу я рассказывал ей про Алексея и про Улитку, испытывая при этом сильнейшее желание сбежать, спрыгнуть с подножки трамвая, и, наверно, спрыгнул бы, если бы это был тот прежний, послевоенный трамвай, с открытым холодным тамбуром, из которого каждый уважающий себя пассажир считал делом чести высаживаться на ходу, хотя бы за пять метров до полной остановки. Но нынешний трамвай был надежно закрыт, понятия тамбура больше не существовало, электропечки добросовестно поджаривали пассажирские зады – все, увы, располагало к светской беседе.

– Да, я понимаю, – глядя в законное, зальделое пространство, кивала потухшая Галина, – такому человеку нужно женское тепло, – и собачонка на ее плечах мелко, простудно дрожала.

Дверь нам открыла Улитка, за ней, как школьник, маячил нарядный Алексей. «Не ждали»... А может, ждали. Алексей вел себя великолепно, хотя не без кокетства. Помог раздеться, проводил в большую комнату, предложил с холода чаю. Стол был полон сластей, включая жирный торт посередке.

– Я, знаете, сладкоежка, – сказал Алексей, поглядывая на Галину по-птичьи, боком, обращаясь к ней блескуче-натянутой после бритья щекой. Он подошел к резному громоздкому Улиткиному буфету, в стиле модерн, с лилиями, и, достав из ящика еще одну коробку шоколадных конфет, горделиво-небрежным жестом подбросил ее на стол.

– Да, – подхватила Улитка, – однажды я на день рождения послала ему целый ящик шоколада – слопал...

– Шоколад – это, я считаю, лучшая еда, – зарделся Алексей от внимания окружающих, – недаром же он входит в рацион подводников, космонавтов. Это чистый продукт с растительной основой, высококалорийный концентрат. А там это мясо, рыба – дикость, каннибализм какой-то. В космическую эру люди еще едят живую плоть. Надо переходить на синтезированный белок.

Я, конечно, предупредил Галину насчет его пунктика, и теперь отмечал краем глаза, что она слушает его с благосклонной снисходительностью врача, которому предстоит поставить на ноги расклеившегося пациента. Вот чего не было видно, так это – понравились ли они друг другу или нет. Воспитанность Алексея я явно недооценил.

– Не знаю, как вы, – решил я немного разбавить сладкую тему, – а я иногда люблю шашлык, ежели еще да на свежем воздухе, да под холодное красное вино...

Улитка засмеялась:

– Ну, мы с тобой оба низменные люди, мясоеды...

А Галина живо обернулась к Алексею, видимо, заинтересовавшись его мнением о вине.

– Вино... – сказал Алексей равнодушно. – Уж лучше тогда ликер. Особенно если в конфетах. Вот в Риге продают такие, «Прозит» называются, то есть по-латыни «За Ваше здоровье». А выпить можно и без мяса. Но я вообще-то не употребляю. Разве что по праздникам, за компанию.

Ах, знал Алексей, что говорить; значит, подумал я, заинтересовался и гнет нужную линию. Поели торт, попили чаю, и Галина потянулась к Улиткиным картинам. Она переходила от одной к другой с видом завсегдатая выставок, если и не очень рафинированного, то во всяком случае прилежного.

– Как вам, нравится? – спросил я, не скрывая собственного отношения.

Галина, глянув на меня как за подсказкой, кивнула. Но впечатление ее было сложнее простого «да» или «нет», и она заговорила, осторожно подбирая слова:

– Я, конечно, не столь подготовлена, мне трудно сразу, я должна подумать, но мне нравится, хотя я не все понимаю. Наверно, тут есть особый смысл, это ведь не чистый реализм?

– Да, это реализм не внешнего, а внутреннего, – сказал я. – Скорее, психологический.

Галина послушно кивнула. Она не кривила душой – картины ей нравились, и, наверно, Улитка ей тоже нравилась, а значит – и ее родитель. На душе у меня становилось веселее.

– Какую надо иметь сложную душу, чтобы так видеть мир, – сказала Галина, обращаясь к Улитке. – Это, конечно, папино воспитание.

– Да нет, она у меня сама с детства такая, – заулыбался Алексей, по-прежнему вполоборота к Галине. – Всегда что-то там рисовала, лепила, красила. Я – ей еще года три было – волшебный ящичек такой сделал, «Карьес» называется, это был такой фантастический рассказ, там аппарат такой – Карьес, значит. Ну а я для нее вроде как игру сделал, ящик такой. Из белой пластмассы, экран с подсветкой, чтобы рисовать, внутри там лампочки разного цвета, ну, тумблеры, конечно. Хочешь – зажигаешь зеленую, хочешь – красную или обе там. Еще звонок приделал: нажмешь – как будто в дверь звонят. Очень это дочке нравилось, она сама к себе, значит, в гости ходила. Позвонит и говорит: «Здрасте». – «Здрасте». – «Как поживаете?» – «Спасибо, хорошо», – и так далее. Дитя, в общем. А сбоку дырочки для карандашей, фломастеров. Любила она с этим ящиком возиться, с «Карьесом» то есть.

– Вот видите, – сказала Галина, – а вы говорите, нет папиного воспитания. Это вы и разбудили ее фантазию, ее воображение.

– Ну, не знаю, – зарделся Алексей, – может, и разбудил. А может, она меня разбудила. Вот когда она музыкой стала заниматься, я рядом пристроился. Ноты выучил, гаммы там, пробую теперь кое-что.

– Ой, папа, сыграй нам! – воскликнула Улитка.

– Да нет, чего там, – смутился Алексей, – я не для того говорил.

– Сыграйте, Алексей Сергеевич, – сказала Галина, голос ее прозвучал мягко, сердечно, и сам ее взгляд потеплел, а собачка на ее плечах вроде тоже повеселела.

Алексей поломался чуток и сел за пианино. Он положил на клавиши свои огромные, как два камчатских краба, рабочие руки, вздохнул и заиграл, наклоняя голову то к одному, то к другому плечу. Это была первая часть «Лунной сонаты» Бетховена – адажио. Вообще-то она по силам и ученику второго класса музыкальной школы, но едва ли Галина знала это. Она сидела неподвижно, с широко раскрытыми глазами, и я почувствовал, что мы с Улиткой здесь лишние. Они уже вступили в диалог. Вот так он ей будет играть по вечерам. А она вот так слушать. Тем временем Алексей добрался до знаменитой темы адажио – повторяющемуся, как вздох, соль-диезу в правой руке: «там-та-там», – однако он не просто нажал клавишу пятым пальцем, то есть мизинцем, а прибавил еще от себя нечто вроде фигурато: «турулям-та-там», как бы подпуская моцартовской беспечности в бетховенскую меланхолию; мы с Улиткой переглянулись, с трудом сохраняя строгую мину, но Галина слушала серьезно, вскинув подбородок и стиснув пальцы на груди; Алексей снова сделал свое «турулям» и покатил дальше триолями, слева направо и назад, как будто формировал железнодорожный состав на сортировочной станции. Не помню уж зачем, я вышел в коридор, и Улитка выбежала следом, оставив их одних.

– Иди назад! – зашипел, замахал я руками. – Неудобно!

Улитка – рот до ушей – послушно закивала, но жажда поделиться впечатлением была в ней сильнее правил этикета:

– Ой, она такая смешная! И этот, как его... песец!

– Я дико извиняюсь, я сам не знал.

– Ничего, они вроде друг другу нравятся...

– Иди... иди...

– Щас... Только надо бы их выпроводить. Пусть погуляют, поговорят...

– Так тебя устроит такая мачеха?

– Мне все равно – лишь бы его устроила. Только этот песец...

Вскоре Галина засобиравшись домой, и Алексей готовно вызвался в провожатые.

– Как интересно вы живете, – сказала Галина нам на прощание, проницательно приняв меня за не совсем чужого человека в этом доме.

– Приходите! – сказала Улитка. – Приходите, я вас нарисую, – и я услышал, как про себя она добавила: «С песцом».

Алексей долго не возвращался, и мы решили, что они пошли в кино. Все складывалось как нельзя лучше. Не дождавшись Улиткиного отца, я уехал.

– Она ему не понравилась, – позвонила мне Улитка на следующий день. – Он говорит, что дома у него есть лучше. Представляешь? Зачем тогда приехал, напрягал нас? Ну и папаша... Дон Жуан...

– Полный песец, – сказал я.

– Что?

– Прости, нечаянно вырвалось...

– Надо найти ему другую невесту, помоложе. Я его все равно женю и привезу в Ленинград. Он нам поможет построить дом. Он же все умеет. Я с ним говорила – он согласен. Только ноет: «А куда я дену свои железки?» Он там с работы натаскал всякого металлолома – жалко оставлять. Я говорю – привезешь с собой. Он сразу успокоился. Он только в субботу уедет. Еще два дня. Найди кого-нибудь, я тебя очень прошу. У тебя же был еще кто-то...

– А тут что, финиш? – спросил я.

– Они вроде условились о свидании, только он не хочет идти.

– Пусть сходит, может, со второго раза она ему больше понравится, – брать на себя ответственность за вторую неизвестную мне невесту я больше не хотел.

На свидание Галина не пришла, и Алексей, подождав, по словам Улитки, минут десять, радостно побежал домой. И лишь после отъезда Алексея я узнал, что в тот день у Галины умер отец, и она послала вместо себя свою верную подругу, так как у нее не было Улиткиного телефона, но подруга то ли не узнала Алексея, то ли пришла слишком поздно. И пока еще целые сутки Алексей был в городе, Галина звонила моим друзьям, чтобы найти меня – только я один мог снова связать концы этой веревочки, но, странное дело, меня не нашли. Потом я узнал, что Галина плакала в трубку: «Умоляю, сделайте что-нибудь!» Будь у нее время, она бы встала на рельсах и остановила поезд, увозивший ее Алексея.

Так я стал Галининым врагом, разрушителем ее счастья, а Улитка меня утешала:

– Не переживай, ты ни при чем. Это судьба. Ему нужна другая тетка.

Я же испытал наконец на себе, что значит устраивать чужие судьбы, весь, так сказать, сарказм русской поговорки: «Чужую беду руками разведу». Хотя мне лично эта история была скорее на пользу. Да, я обрел большую уверенность – ведь это ко мне обращалась Улитка, строя свои планы на будущее.

XVIII

– Я соскучилась, – звонила она мне.

– Тогда я вечером приеду.

– Давай. Только у меня народ будет. Лилька придет с подругой, потом еще кто-то, краснодеревщик придет – он взялся реставрировать мои стулья.

Вечером действительно набежал народ, большей частью мне неизвестный. Краснодеревщик оказался молоденьким круглоголовым блондинчиком, мастером-преподавателем в ПТУ, после армии, неженатым, пишущим стихи – Улитка обещала ему, что я их посмотрю; «кто-то» был чернявым тридцатилетним увальнем, закончившим юрфак, но нигде не работавшим, Улитку он знал давно и пришел к ней, чтобы обговорить деловое сотрудничество: она пишет картины, он их сбывает, кладя в карман десять процентов комиссионных, – повеяло первым рыночно-кооперативным ветерком, тут и там стали открываться выставки с приподнявшим голову авангардом, и юрист сколачивал круг художников, на которых можно было сделать ставку; гигантская смазливая Лилька, прибывшая в город из провинции, чтобы стать кулинаром, уже бросила под воздействием Улитки свой техникум и теперь рассчитывала попасть в ночное варьете ресторана «Нева», где работала ее подруга, которую она привела. На вид подруге было лет восемнадцать, маленькая ушастая головка на высокой шее с профессиональным балетным постановом, подругу звали Леной, и, как мне успела нашептать Улитка, она собиралась снять квартиру, чтобы зарабатывать на мужиках, прежде всего на иностранцах – то бишь «фирме». «Она пришла у меня деньги в долг просить, – сказала Улитка, – а я ее отговариваю. Она думает, мне жалко – а мне ее жалко. Нельзя так начинать – потом уже не поправишь. А она думает, что заработает, оденется и снова станет чистенькой».

От курева, магнитофонной музыки и разговоров под стук деревянного молотка краснодеревщика я ушел в Улиткину спальню, лег на кровать, взял книгу.

– Тебе скучно с моими друзьями? – прибежала Улитка. – Они мне тоже надоели. Я их скоро прогоню.

– Да что ты, – сказал я с благодарностью. – Все прекрасно. Я просто немного устал.

– Ну ладно, полежи. Я к ним пойду. Можешь у меня сегодня остаться.

Она ушла, а я попробовал читать «Мастера и Маргариту», ее настольную книгу. Но не читалось. «Забавно, если сейчас придет Бадри», – вдруг подумалось мне. Я попробовал представить, что же в таком случае будет дальше, но не представлялось. Интересное имя, раньше не встречал, Улитка говорит – персидское, что-то связанное с восходом солнца. Отец – грузин, мать – русская, из-за этого у отца были в богатом его роду неприятности, он дал в Первый медицинский большую взятку за сына, чтобы приняли, – хорошая семейка; иногда у Улитки на столе появляются какие-то экзотические яства, мясные или фруктовые, ясное дело, из Грузии; раньше она мне говорила, что купила на рынке, – на наших рынках такого не продают даже грузины. К одиннадцати вечера гости стали расходиться, и вскоре мы остались одни. Последним ушел рыхлый чернявый юрист.

– Ну так ты подумай... – многозначительно сказал он Улитке, после того как церемонно, за руку, попрощался со мной.

– Ты ему понравился, – сонно улыбнулась Улитка, положив мне руки на плечи. – Ты, серебристость...

– Что значит «я – ему», кто он такой? – спросил я.

– Никто, – снимая руки с моих плеч, сказала Улитка. – Пожалуйста, не думай ничего плохого. У меня ничего с ним нет. Ты же слышал, он хочет мне помочь с выставкой, хочет стать моим торговым агентом. Знаешь, он головастый. Он может что-нибудь придумать. Ты зря обижаешься. Вот и он заметил, что ты очень ревнивый. Он просил передать тебе, чтобы ты не волновался – у

нас с ним чисто деловые отношения. Он ведь мне очень помог, когда я приехала в Ленинград. Я же была одна, как кутенок, без крыши, без угла. Тогда у нас с ним что-то было, но это все. А потом он исчез. Два года я его не видела. А тут вдруг звонит, приходит – такой обрюзгший, я его едва узнала. Говорит, что лечился от алкоголизма. По-моему, он к женщинам равнодушен; даже тогда, помню, только встанет после этого, закурит и продолжает разговор с того, на чем остановился. Он очень много знает... Ну, опять нахмурился, опять ревность. Ты же мне обещал. Сам говорил, что это унижительное чувство. Я, например, ни к кому тебя не ревную. Можешь приходить ко мне с кем угодно. И вообще можешь изменять мне. Я это не считаю изменой, я на это смотрю нормально...

– Это потому что ты меня не любишь, – сказал я.

Улитка вздохнула, потерла глаза двумя руками, зевнула, тряхнула головой, словно прогоняя сон, и сказала виноватым голосом:

– Я что-то тоже устала... Хочется побыть одной. Ты уж извини – оторвала тебя от работы, позвонила. Ты бы писал стихи... Я очень хотела тебя видеть, – она снова зевнула и потрясла головой. – Еще эти друзья... Господи, как я от них устала. А завтра еще Бадри должен прийти, с приятелем. Я тебе про него говорила. Такой же высокий, мы его зовем «Тростник». Какое-то у них дело ко мне.

– Да, я пойду, – сказал я. – Я тоже что-то не в форме. До завтра.

– Я тебе сама позвоню, – сказала Улитка. Это означало, чтобы я ей не звонил, не проявлял инициативы.

Я и не проявлял. Целый день и целый вечер и ночь телефон молчал. Ночью, точнее в четыре часа утра, я проснулся как от толчка. Как будто меня ударили по лицу. Сердце колотилось. Он там, понял я. Он с нею. Нет, сказал я себе. Он приходил с приятелем. По делу. И он ушел. Иначе бы она не стала мне говорить. Я поднялся с постели, вышел на кухню, выпил холодной воды из-под крана и лег. Но долго не мог заснуть. Он там, там – колотилось во мне сердце.

И на следующий день она мне рассказывала по телефону:

– Ты знаешь, он пришел такой печальный, как в воду опущенный... Ну, конечно, с приятелем. С Тростником. Они вместе пришли. И он так на меня смотрел – с таким страданием... Похудел, одни глаза. Таким я его еще не видела... Представляешь, он чувствует тебя. Вообще вы оба чувствуете друг друга. Когда ты у меня был последний раз, когда же это – да, позавчера, когда все были, Саша-юрист и все остальные, – он, оказывается, тоже приходил. Он услышал у меня музыку, голоса, постоял у двери, выкурил сигарету и ушел. Я ему: «Почему же ты не зашел, я бы познакомила тебя с Игнатом». А он тебя боится. Я все ему рассказала про тебя и про нас с тобой. Я не люблю скрывать, ты же знаешь... Я рассказала ему все, думала – теперь он уйдет. А он сидит и молчит. Я говорю: «Что же ты не уходишь? Где твоя грузинская гордость? Теперь ты должен уйти». А он мне: «Я тебя люблю». Он сказал, что уйдет, если я сама его прогоню. Но я же не могу гнать человека. Меня и бабушка учила: бойся обижать людей. Это меня все обижают. Он сказал, что я ему могу изменять, что у него нет на меня прав. Представляешь, он даже считает, что я не буду виновата. Он только сказал, что если бы вошел в комнату, где я с кем-то, он бы этого человека убил, а меня бы не тронул... У него есть ключ от моей квартиры. Он как-то взял у меня запасной и не отдал. Теперь придется вставить второй замок.

– Он остался у тебя? – спросил я.

– Да, – тихо, но твердо ответила моя Улитка, решившая во всех случаях жизни говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды.

«А Бадри мы пожалеем?»

Мой противник побил меня моим же оружием. Что мне было делать дальше – другого оружия у меня не было. Но она же ничья. И она хочет быть со мной. А его жалеет. «По большому счету он мне не нужен». А я, выходит, нужен. Зачем я нужен ей? Я не знал.

«Да», – сказала она, рассчитывая на мое всепонимание. И я понял. Я понял, что иначе быть не могло. Если бы могло быть иначе, иначе и было бы. Но что мне делать? Остаться рядом с ней, дружить, покровительствовать, поддерживать ее талант? Она ведь талантлива. За талант можно простить многое. Лишить ее свободы – это значит отнять у нее талант. Она должна жить так, как может жить. Я могу принимать, могу нет. Я свободен в выборе. Я принимаю ее такой, какая она есть.

– Хочешь, приезжай, – сказала она.

И я поехал. Ну да, он остался. Но это ведь еще ничего не значит. «Ой, он такой холодный». Но зачем бы ему оставаться просто так? Господи, что мне делать? Я без нее не могу. Мы оба без нее не можем. Она заколдовала нас. Нам бы прийти к ней вдвоем и вдвоем уйти, бросив ее ко всем чертям...

Улитка была тиха, нежна, полна внимания: «Я показала ему твое фото. Он все понял. Он принял, как есть».

– А ты мне можешь его показать?

– Ты его видел.

– Где?

– Вот, это его портрет.

Задумчивый юноша с твердой линией подбородка, молодой бог, Иисус Христос-суперстар...

– А фотография его у тебя есть?

Улитка молча кивнула, полезла в ящик стола и протянула мне фотографию, сделанную, судя по всему, ею же. Да, это был он, собственной персоной. Она не польстила ему в своем рисунке – он был красив подлинной мужской красотой. Он был красив, строен и высок, где-то под метр девяносто, он играл в баскетбол и был без пяти минут врач, и даже не терапевт, а хирург, специализирующийся на благородной хирургии сердца. И он любил Улитку, он любил ее так, что мог ей все простить, и было ему всего двадцать четыре года. А мне сорок пять, и мне понадобилась вся моя жизнь, чтобы научиться так, как он, прощать.

– Хороший парень, – сказал я. – Красивый. Почему ты не хочешь за него замуж? Вы красивая пара. Ведь он любит тебя.

– Ну и что, – сказала Улитка. – Он мне не нужен. Я ему об этом прямо сказала. Но он не уходит. Наверно, на что-то надеется. Но это бесполезно. Я ему говорю: «Бадри, давай я тебе найду красивую девочку. Я тебе все равно не подхожу. Тебе нужна хозяйка дома, она нарожает тебе детей, будет на тебя молиться: вах, вах, вах! А я тебе только жизнь испорчу». Но он меня не слушает.

И вдруг мне стало легко. Все правильно. Все идет правильно. Побеждает тот, кто умеет терпеть, – самый терпеливый. Я вытерплю все.

– Ну что, – повернулся я к ней с улыбкой. – Живем?

И Улитка, до этого момента чуть напряженная, зависимая, как бы чуть виноватая, расцвела, потянулась ко мне, повисла на шее, по-детски подставляя губы – целовалась она только по-детски. Ах, родная моя, любимая, ах, родная моя! Кровь ударила мне в виски, затмила зрение, но я нашел в себе силы сделать шаг назад, разомкнуть ее руки. Нет, не сейчас. Нельзя сейчас. Есть какие-то негласные законы. Нельзя через них переступать. И Улитка тоже это поняла – сдержала свой

безотчетный порыв, усиленный, наверно, контрастом, обновляющим чувство. Мы попили чаю. Я поиграл на пианино и уехал.

Любовь – это самоотречение. Такой любви я еще не знал.

Вскоре Улитка мне сказала:

– У Бадри большие неприятности. Очень большие. Помнишь, он брал у меня деньги. Я думала – так, для дела: купить, продать. А он, оказывается, проигрался в карты. И ему сказали: не отдашь завтра деньги – умрешь. Оказывается, он играет на деньги. На большие суммы. В тот раз он проиграл три тысячи. И если бы я не дала, его бы убили. Но он мне ничего не сказал. А тут на днях он зашел, всего на пять минут, грустный такой, и говорит: «Если я исчезну, не удивляйся – значит, меня убили». И все мне рассказал. Там у них в гостинице «Прибалтийская» какая-то карточная мафия. И если кто не платит проигрыш, ему выпускают кишки. Это мне еще его тетя рассказывала. Она же на «скорой помощи» работает. Ее несколько раз туда вызывали. Она рассказывала страшные вещи: кровь, растоптанные внутренности... Если б она знала, что ее любимый племянник влез в это дело...

– Зачем ему деньги? – спросил я.

– Как? Он привык, что у него есть деньги. Не мелочь, а действительно деньги. Когда мы с ним ездили в Ригу (Господи, она и не помнила, что я этого еще не знаю), он на меня столько потратил – все, что у него было. Он привык жить широко. Папа у него миллионер. Но он у него не просит. А где студенту заработать? Вот он и играет. Я чувствую, я должна вмешаться. Должна что-то сделать. Если с ним что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Я расскажу его тете, – Улитка нахмурилась, покачала головой. – Он, конечно, мне этого не простит. Мы поссоримся, но я должна его спасти. Он потом поймет. Да, решено, я все расскажу тете. Я должна на это пойти.

Помню, в тот миг я пожалел, что не играю в карты и что моей жизни ничто не угрожает. Что я мог сделать? Вернее, что мне оставалось делать? Мне оставалось оставаться на прежней высоте или даже набирать новую. Бадри жил у тетки где-то на окраине города в районе новых станций метро. Ленинградская его тетка была моей ровесницей. С мужем она давно развелась и жила соломенной вдовой, воспитывая сына, которому исполнилось семнадцать лет, да своего красавца-племянника, у которого пользовалась, по грузинским традициям, авторитетом. Тетка могла наставить его на путь истинный, но для этого нужна была истина, которую Бадри от нее скрывал. Улитку тетка знала хорошо – она ее вместе с Бадри и лечила. Улитка у нее не раз ночевала. Раньше эта женщина, врач «скорой помощи», с которой дружит Улитка, существовала в моем сознании отдельно от Бадри, теперь они соединились – вот и вся разница. Тетка считала Улитку невестой своего племянника, была убеждена, что лучше ему не найти, при мне Улитка несколько раз разговаривала с ней по телефону, длинно, «за жизнь». При мне же Улитка приглашала ее в гости, и, кажется, та приезжала, но мы с ней ни разу не столкнулись, хотя, опять же, по словам Улитки, тетка знала о моем существовании, о нашем треклятом треугольнике.

И вот Улитка сказала мне, что договорилась с ней о встрече, предупредила об исключительной важности разговора, так что тетке пришлось отложить свои дела, она ждала Улитку в шесть вечера, когда дома больше никого не будет. День был мерзкий, слякотный, с огромными грязными лужами, отороченными коричневатой снежной кашей. Я сидел у Улитки и пошел ее провожать. Трамвая все не было, Улитка нервничала – надо было обязательно переговорить до прихода Бадри, – а тут еще час пик, толпа из метро, как паста из тюбика... Я поднял руку и остановил такси.

– Я тебя отвезу, – сказал я.

– Какой ты благородный, Игнат, – сказала Улитка.

За такие слова я готов был везти ее хоть на край света. И мы понеслись куда-то к черту на кулички, где я никогда не бывал, да где и города-то, по сути, не было – разбитые дороги, раздрыганные перекрестки, убогие нищенские фасады каких-то фабричонок с громкими названиями «Рассвет», «Возрождение» – это по-нашему, – фонтаны из-под колес встречных

машин, словно мы плевались друг в друга. Но это там, снаружи, в том мире, из которого я себя исключил, как и Улитка, а мы сидели здесь, в тепле и относительном комфорте, Улитка была рядом, тепло ее тугого бедра, ее тонкая смуглая сильная кисть, покоящаяся в моей руке, отдыхающая в ней, передоверившая ей, то есть мне, все свои тревоги и заботы. Разве не так? Мне ведь тоже теперь безразличен этот человек по имени Бадри. И судьба его безразлична, и я хочу, чтобы у него все было хорошо, и если Улитка как-то может повлиять из это, то, естественно, она должна это сделать. И все же я чувствовал Улиткино напряжение, ожидание грядущего конфликта, который, возможно, что-то навсегда изменит в ее отношениях с Бадри. Как изменит – в мою пользу или в его? Мне ли не знать, как привязывает общая беда, общее страдание. Господи, почему я не болен, почему у меня все так подозрительно нормально, ровно, бла-го-по-луч-но, несмотря ни на что? С тех пор как я выбыл из игры, у меня все благополучно. Может, то, что я считаю своей жизнью, на самом деле нежизнь? Только я об этом и не подозреваю? Может, исключить себя из общества – это перестать жить? И со мной уже произошли перемены, бессмысленный трагизм которых налицо? Может, уйти от общества – это обречь себя на духовное бесплодие? Но разве общество, в котором я жил, не бесплодно? Разве оно не выродилось? Мною двигал инстинкт самосохранения, я не хотел заразиться – только и всего. И вообще поиск истины, дух – это прерогатива единичного сознания, одиночек. Об этом и Швейцер говорил. Он говорил, что новые духовные ценности создает только личность, но никак не коллектив. Это ведь так. И потом я не один. Теперь уже не один. Мы вдвоем – я и Улитка. Вместе мы можем многое, можем гораздо больше, чем по отдельности. И мы не мешаем друг другу, мы дополняем, а значит – усиливаем друг друга. И мы будем вместе. Всегда. Что бы ни случилось. И, сильные, мы способны помочь другим людям, многим. Вот и сейчас мы едем помогать.

– Кажется, здесь, – сказала Улитка, взглядываясь в серые корпуса двенадцатизэтажек, похожих скорее на каменные надгробия, чем на жилье, как сам район – скорее на кладбище. Я открыл дверцу, вылез и подал Улитке руку. Лицо ее было сосредоточенным.

– Я должна это сделать, – сказала она. – Хотя мы с ним, конечно, поссоримся, он может не простить. Ну ладно... поезжай. Здесь я сама.

– Может, мне лучше пойти с тобой?

– Ну, нет. Зачем тебе в это ввязываться?

– Ладно. Я уезжаю, – и я просительно сжал ее руку у локтя. – Будь умницей.

Улитка кивнула.

– Позвони мне вечером, – сказал я, оставляя ее, садясь в машину. – Обязательно.

– Хорошо, – сказала Улитка и решительно пошла к дому, взглядываясь в верхние этажи, будто оттуда кто-то смотрел на нас.

Она позвонила мне поздно, в двенадцатом часу.

– Добрый вечер, – сказала она. – Как ты там?

– Я-то нормально, ты как? – сказал я.

– Тут тоже все нормально, – уклончиво сказала она стесненным голосом, как если бы ее слышали. Так оно и было – я различал в трубке фон другого разговора.

– Бадри пришел? – спросил я.

– Да, – сказала она. – Я потом расскажу. Все. Пока...

– Ты что, там остаешься?

– Да, – сказала она.

– Нет, – сказал я, – пожалуйста, ты должна уехать, я тебя встречу.

– Я не могу, – сказала она. – Вообще... тут мне трудно говорить. Я позвонила, потому что ты просил. Пока. Я вешаю трубку.

– Нет! – крикнул, простонал я. – Нет, пожалуйста! Не оставайся там! Ты не должна оставаться!

– Игнат, если бы я знала, что ты так... Ты же мне сказал, что все понимаешь... Я кладу трубку. Тут... Я больше не могу... – и я услышал рядом с ней недовольный мужской голос, конечно Бадри.

– Умоляю тебя! – закричал я. – Всем святым на свете! Умоляю тебя, не оставайся с ним! Ложись вместе с теткой! Я умоляю тебя, не будь с Бадри ночью! Я умоляю, слышишь, умоляю! Ты не должна!

– Хорошо, – ответил мне мертвый Улиткин голос, и в трубке, раздались частые гудки.

Я уткнулся лбом в прохладный панцирь телефона. Что же это такое! Я не вынесу этого! Господи, помоги мне!

Я бы написал, что боль была непереносимой, но это неточно, потому что ведь я ее перенес. То есть, куда-то перетащил, с одного места на другое, и там оставил. Вместе с самим собой. Настало утро, но света не прибавилось, и небо было ровно с овчинку. Меня бил озноб, и дико болела голова. Я смерил температуру и с удовлетворением убедился, что и душевную боль можно измерить – она была на целый градус выше душевного покоя. Я сообщил на работу, что заболел. Матушке сказал, что у меня библиотечный день. Вид у меня был смурной, но я давно привык камуфлировать свои страсти-напасти под ночное вдохновение. Ага, сочинял всю ночь. И вправду, рассудок мой сочинял в полусне какой-то мерклый бред, что-то вязалось, вязалось, между верхом и низом, и обрывалось то там, то здесь и снова вязалось и обрывалось без всякой надежды на то, что этот почетный труд будет когда-нибудь закончен. Раньше я летал, еще совсем недавно, года два как перестал, а раньше жил во сне свою вторую летательную жизнь, то есть жизнь летающего человека, при том что я оставался самим собой, вот только умел как-то так подтянуть мышцы живота, сделать такое волевое усилие, что в результате медленно отрывался от земли, от пола. Почему-то чаще всего я летал в больших комнатах – отрывался и невысоко, метр-два-три, повисал в воздухе, а мог и перемещаться, не быстро, но быстрее, чем шагом, при этом ничего вдобавок не делал, не размахивал руками, а только наклонял корпус вперед... Во сне я знал, что все удивляются моему дару, но терпят его, как не приносящий никакого вреда. Ну, летаешь и летаешь... Мне же очень важно было сознавать, что в любую минуту я могу приподняться над землей. А тут будто я взлетел под самый потолок, и влип в паутину и повис между верхом и низом, и мне сказали – это твое, ты тут главный, охраняй и поддерживай, и я плету, плету, а оно рвется, я чувствую это вздрогом моего невесомого тела, то тут рвется, то там, я не хочу висеть, ведь это не просто так, почему мне не пошевелить ни рукою, ни ногою, почему так больно под сердцем? Ведь это меня распяли, вот оно что...

Сначала я звонил Улитке через каждый час, а как стало темнеть – через полчаса, но только в седьмом часу вечера трубку подняли, и ее голос, ровный и немного усталый, сказал:

– Алё!

– Здравствуй, это я, – сказал я. – Как дела, как себя чувствуешь?

– Это ты как себя чувствуешь? – воскликнула Улитка.

– Я нормально.

– Правда?!

– Говорю – нормально.

– Нет, правда?! – как ей этого хотелось...

– Вот те крест.

– Ну хорошо. А то вчера ты меня огорчил. Я же поверила тебе, что ты все понимаешь. Если бы я знала, что ты...

– Да все нормально. Ну, сорвался чуток, с кем не бывает. Но тут же взял себя в руки.

– Что-то мне не очень нравится твой голос. Я хочу видеть тебя, ты приедешь?

– Угу.

Какой я идиот! Чего я только не нагородил! Я осторожно, бережно положил трубку, спазмы душили меня, слезы катились из глаз.

Вечер выдался тихий, стало подмораживать, мелкий снежок принялся и прекратился, и в разрывы облаков недоуменно глянули на меня две звезды. Машинально я поискал третью.

Улитка, подкрашенная явно к моему приходу, сняла с меня куртку, посадила за стол, налила чай, пододвинула мед:

– У тебя совсем больной вид...

– Я страдал, – сказал я.

– Так нельзя, Игнат.

– Я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Вчера не мог, а сегодня справился.

– Ты меня подводишь...

– Прости.

– Это ты меня прости. Все из-за меня, я понимаю. Но в чем я виновата? Пока я иначе не могу, я тебе об этом сказала.

– Да. Только я не ожидал, что это так трудно. Я чуть не умер вчера.

– Какой у тебя был голос... Прости меня. Не хочу, чтобы ты страдал, но я не знаю, как быть. Скрывать плохо, не скрывать – еще хуже.

– Ничего, я вытерплю. Я все вытерплю. Я хочу быть с тобой.

– Иди ко мне...

– Я не могу.

– Иди ко мне. Хочу, чтобы ты был со мной. Чтобы ты был во мне. Хочу твоего тепла...

– Не могу. Так нельзя.

– Прости меня... Только так ты меня можешь простить...

Улитка потянула меня за собой одной рукой, второй поспешно снимая с себя то небольшое, что мешало нам соединиться, из непригнутой рамы тянуло холодком по плечам, спине, Улитка гибко распростерлась подо мной, закинула голову, закрыла глаза, но холодок тек наискось по спине, и не было во мне желания.

– Я не могу, – сказал я. – У меня не получается. Я так не могу. Я заболел.

– Бедный, – шептала она, обвив меня своими руками, – я заставила тебя страдать. Все из-за меня. Иди ко мне!

Ее шепот обжигал мне ухо, и, словно из-под неволи, я последовал за этим жаром, но душа моя оставалась холодна и со стороны сухими грустными глазами смотрела на нашу бедную, ничем не прикрытую близость, вымученную и вымороченную. «Больно, – морщилась Улитка, кусая губы. – Ой, больно... Все там стерто... Нет, не уходи... Я потерплю... все равно, все равно... Будь во мне. Только осторожней... Это я сама себя наказала». «Но так же нельзя, – сторонне, сам по себе думал я, послушно не отпуская Улитку. – Зачем это?» Потом мы лежали неподвижно, и из оконной рамы поддувало, но холод больше не ощущался, и я понимал, зачем то, что было. Это было ее возвращение ко мне. Наверно, окончательное.

XIX

И наступила тишина. Улитка была моей. В этом больше не было сомнений. Чтобы закрепить наши новые отношения, мы даже решили куда-нибудь съездить, хотя бы на день, и в последний момент остановились на Москве – там были и выставки, и комиссионный антиквариат, стоивший, по словам Улитки, дороже, чем в Ленинграде, почему она и прихватила с собой что-то на продажу. В дороге мы пережили легкое приключение, и я запомнил тесное ночное купе, двух мужиков внизу, то ли спящих, то ли затаивших дыхание, фотовспышки заоконных огней из-под приспущенной шторки и незнакомо-безудержное Улиткино тело, ее долгий прерывистый выдох, слышный лишь мне одному. Возвращались мы в двухместном купе, и я еще раз убедился, что Улитка не поклонница легализованных удовольствий. Это делало несколько проблематичной нашу будущую совместную жизнь; но разве мы с Улиткой не были похожи и разве это не служило залогом того, что обыденность, которой я и сам чурался, нам не грозит?

Улитка жила легко, с ней и было легко. Конечно, из каждого дня устраивать праздник я бы не смог, но ведь и встречаться каждый день – это убивать чувства. Ей, как и мне, казалось, что будущее у нас одно – совместное, и только как бы разность нашего жизненного опыта попридерживала ее, чтобы не приступить немедленно к обустройству этого будущего, – Улитка говорила, что должна еще пройти какой-то путь, чтобы сравняться со мной, вот тогда уж мы и пойдем рука об руку.

Она по-прежнему нигде не работала, но деньги у нее не переводились – они сами шли ей в руки, льнули к ним. Из ее рассказов я постепенно узнавал новый, неизвестный мне людской конгломерат, не тот, работающий, нечто производящий, о котором изо дня в день говорили газеты, радио и телевидение, а совсем другой, нигде не работающий, обойденный общественным вниманием и лишь собирающий то, что когда-то было произведено и сработано другими, и само это собирание из приятного на каком-то этапе становилось еще и полезным и хорошо кормило. Помимо Улиткиного приятеля Димы так жили многие в Москве и Ленинграде, в Киеве, Таллинне и других городах, куда время от времени наведывалась Улитка. Снятая ею квартира постепенно превращалась в музей модерна, и только сами экспонаты – люстры, вазы, безделушки, кое-какая мебель – постепенно менялись на более дорогие, как бы улучшая собственную породу. Меня они по-прежнему не трогали, но я с уважением относился к Улиткиной страсти, и когда от меня требовалось разделить ее радость по поводу удачного приобретения, я разделял.

Вскоре прибавилось еще одно увлечение – йогой. Улитка сразу начала с раджа-йоги, посчитав, что тело ее само прошло путем хатха-йоги и стало совершенным. Кружок любителей был строго законспирирован, и попасть в ученики можно было только по знакомству. Ни телефонов, ни адресов руководителей ученики не знали. Улитка хотела, чтобы я занимался вместе с ней, но я отказался. Я и ее пробовал отговорить: раджа-йога вещь серьезная и результат занятий непредсказуем. И еще я сказал, что это опасно для таланта, для творчества.

– Ну и что, – отмахнулась Улитка, – если мне станет только лучше, зачем рисовать? Все равно это не женское дело.

Легкость, с которой она готова была отказаться от того, чем жила, меня удивила, и я подумал, что это просто голос упрямства. Если Улитка что-то задумывала, стоять на ее пути было

бесполезно. Теперь она занималась два раза в неделю, и наши встречи сократились. По ее словам, среди учеников не было интересных людей, и она не понимала, что их влечет к йоге. Она продолжала жалеть, что я в стороне. Однажды она принесла свою натальную карту и сбивчиво, новыми для нее словами пыталась мне ее объяснить. У нее было какое-то редчайшее сочетание светил, сулящее редкую судьбу. Среди великих людей такое сочетание выпадало только Гитлеру, и это Улитку забавляло. Когда гуру увидел Улиткин астрал, он сказал, что ей нет смысла ходить на занятия, они ей ничего не дадут, так как у нее уже все есть. Раджа, как и хатха-йога, умещалась в ней целиком и полностью от природы, от рождения. Еще гуру сказал, что в нынешней своей инкарнации, то есть в нынешней жизни на земле, Улитка может ничего не делать, только праздновать и наслаждаться, так как в предыдущих своих жизнях она отдала бесконечно много сил. Гуру предложил ей подумать, стоит ли тратить время и деньги на то, что она уже и так постигла.

– Я все равно буду заниматься, – сказала Улитка. – Мне это интересно. Вот если бы еще ты...

И я решился.

– Вот хорошо! – обрадовалась Улитка, захлопала в ладоши, закружила меня, по-детски приткнулась губами к моим губам. – Я поговорю о тебе. Тебя возьмут. Там такие пни. А тебе полезно. Ты станешь светлее. Я люблю тебя светлого.

Дней десять после того, как Улитка заявила обо мне, ответа не было. Тайные руководители то ли осторожничали, то ли что-то проверяли. Улитка обмолвилась:

– Ты знаешь, им все про меня известно. Где была, с кем встречалась. Гуру сказал, что я неправильно одеваюсь... – но, увидев, как у меня перекосилось лицо, засмеялась: – Да брось ты. Они вовсе не дают. Они только дают советы. Я беру то, что мне нужно. Я чувствую, что не мое. И ты будешь так же. Надо же критически относиться к тому, что дают...

Через две недели ожидания Улитка сказала:

– Тебе на днях позвонят...

Но двух недель мне было достаточно, чтобы ощутить слежку и за собой. В моей жизни за мной несколько раз принимались следить, впрочем, скорее по недоразумению, ибо хоть я в студенческие годы и посещал некоторые инакомыслящие квартиры и даже читал кое-что запрещенное, однако оставался в пассиве, одиночкой, и дело бы мое не сулило больших наград тому, кто им бы занялся. Что изумило меня тогда, так это возможности КГБ, позволявшие чуть ли не к каждому третьему гражданину своей страны приставить по стукачу. И вот память о том странном состоянии, когда даже в бессолнечный день за тобой следует твоя тень, память эта вдруг всколыхнулась и ожила... Скорее всего, слежка мне померещилась – что от меня нужно бедным подпольным йогам, но в тот момент я взбесился: обкладывают! И вот раздался телефонный звонок, и звонкий мужской голос, каким в прежние времена оглашали округу коробейники, попросил меня к телефону. Голос этот все и решил. Есть голоса – как постоянная слуховая травма, ну, скажем, голоса руководителей нашего государства. Этот голос был не старше тридцати лет. Бодрый, коренастый, комсомольский, с румянцем во всю щеку, он звучал напористо и деловито. Голос сказал, что ОНИ приветствуют мое решение вступить в их ряды, но что для этого сначала нужно встретиться и поговорить. «Когда вам удобно?» – спросил голос и сразу назначил свое время. Я сказал, что это мне не подходит, и как бы увидел, как голос не без неудовольствия потеснился для меня.

– Называйте день, час – вторник, среда, четверг? Пожалуйста! – стараясь быть вежливым, подсовывал голос мне под нос свое коробейное тряпье.

– Вы не поняли, – сказал я. – Мне вообще это не подходит.

– Как? – растерялся голос. – Но ваша знакомая нам сказала...

– Я передумал, – сказал я. – Извините, но я передумал.

– Нет, как это? – заметался голос между уничижением и хамством. – Должны же быть какие-то причины? – его подмывало пригрозить, но он сдерживался.

– Уверяю вас, – как можно миролюбивее сказал я, испугавшись за Улитку, – никаких причин, кроме сугубо личных. Просто изменились обстоятельства.

– Непонятно, – как бы сам себе сказал голос, будто до этого им со мной было все понятно.

– Я очень извиняюсь, – сказал я.

– Вы все-таки подумайте, – сказал голос напористо и многозначительно.

– Нет, – сказал я. – Спасибо. Я не смогу.

– Ну что же! – зазвенел голос, как наглый бубенец. – Тогда прощайте. До следующих инкарнаций! – последняя фраза прозвучала почему-то угрожающе.

Положив трубку, я долго нервно посмеивался. Кем будет этот щекастый в своей следующей инкарнации? Я передал Улитке наш разговор, рассказал про голос, и она сказала, что такого не знает, что это, видно, из тех, кто над ними, кто возглавляет куст, – их тоже можно понять, они ведь вынуждены конспирироваться.

– Я боюсь, что теперь они что-нибудь тебе устроят, – сказал я. – Это был очень нехороший голос, какой-то кэгэбэшный. Ты должна объясниться со своим гуру.

– Не волнуйся. Я уже объяснилась. Я сказала, что мы с тобой поссорились и разошлись. Это ведь почти так. Иначе бы ты тоже занимался. Ты сам не знаешь, чего ты хочешь, Игнат.

– Я хочу, чтобы ты была со мной.

Она промолчала.

Но вскоре размолвка забылась, так как напомнил о себе наш садовый кооператив, сделав первый крупный подбор среди своих пайщиков на окультуривание торфяной пустоши. Улитка снова загорелась:

– Если мне не дадут участок, я куплю половину твоего. Я думаю, два дома уместятся. Или так – один дом, но с глухой стеной посередине. Сначала мы построим твою половину, а потом мою. Пусть отец там пока и живет. Он нам все сделает.

И часто она возвращалась к этой теме:

– Ой, как я хочу строить! Когда мы начнем наконец строить? Я уже все обдумала. Знаешь, какие у нас будут потолки? Не плоские, а такие... сталактитовыми натеками, плавные. Это делается гипсом, нужно обязательно гипс достать... – и ее поднятые изумительной красоты кисти принимались лепить ее потолок.

И еще одна идея снова сблизила нас – съездить во Владимир. «Когда мы поедем во Владимир...» – говорила она. Надо было забрать ее работы, которые хранились у бабушки на чердаке. Они огромные, одной ей не увезти. Раньше она писала только огромные полотна. Это от дилетантства. Сейчас-то она робеет и перед пяточком пустого холста – как его насытить светом и цветом? Вообще теперь ее тянет к такой детальной проработке, что и маленькие холсты кажутся ей огромными. Во Владимире мы походим по церквям, она мне все покажет. Она покажет мне фрески, которые реставрировал ее дядя. Она покажет Николу Угодника, у которого сама расписывала одежды.

Но живописью она теперь занималась гораздо меньше.

– У меня нет холстов! – оправдывалась передо мной. – Надо где-то заказать холсты. Лучше прямо с рамками. Ведь рама – она сама подсказывает, организует пространство...

Тогда я стал покупать ей репродукции картин на тонких холстах. Типографская краска вполне заменяла грунт – поверху можно было писать маслом. Но Улитка продолжала жаловаться то на формат, то на «жлобскую» рамку, то на свое настроение.

– Надо нам с тобой поискать хорошие рамы, – говорила она. Но даже в антикварных магазинах, ее любимом месте времяпрепровождения, ничего подходящего не было, и замыслы откладывались.

Я посоветовал сделать копию «Чаепития» на продажу, но и эта работа у нее не пошла. Только голова лошади на подносе смотрела на свой череп с каким-то сверкающим ужасом. Вместо живописи Улитка теперь занялась рисованием уже знакомых мне женских фигурок в интерьере эпохи модерна – она исполняла их пером и подкрашивала цветными карандашами. Их скупал знакомый мне юрист. По его словам, они пользовались спросом у зажиточных стариков. За продажу каждого рисунка он брал положенные десять процентов, но, так как цены устанавливал он же, процент мог быть и гораздо больше.

– Ну и что, пусть наживается, – отмахнулась Улитка. – Я эти рисунки не ценю.

Мне казалось, что Улитка остановилась в своем развитии, и это меня смущало.

– А куда спешить? – говорила она. – Вот объясни, куда мне спешить? Я знаю свой срок. Я все успею. Не подгоняй меня – это только хуже.

В другой раз она говорила:

– Живопись сейчас никому не нужна. Давай лучше откроем кооператив по интерьеру. Мы будем ходить по богатым домам, сейчас знаешь сколько богачей развелось, будем ходить и давать консультации. Деньги у них есть, а вкуса никакого. Они же невежественные, они не могут отличить ампира от рококо. А когда мы накопим приличную сумму, можно открыть и мастерскую по интерьеру. Возьмем этого нашего краснодеревщика. Роспись, лепка, реставрация... Вот что мне сейчас близко.

Или вдруг хватала меня за уши, дышала мне в лицо своим детским дыханием:

– Ты, серебристость... Пойдешь ко мне директором в салон красоты? Мы вчера с Лилькой решили открыть салон красоты. Прически, макияж, массаж. А ты можешь делать теткам массаж, я тебе разрешаю. Я хочу, чтобы наши тетки были красивыми. Они не умеют ни одеваться, ни краситься, ходят, как утки. А ты такой солидный, они будут на тебя клевать.

Ее стовосьмидесятипятисантиметровая Лилька не то работала в варьете, не то уже вообще не работала, поскольку богатые ухажеры у нее не переводились, в паузе же между ними она переселялась к Улитке.

Улитка говорила мне по телефону:

– Знаешь, она хорошая девчонка. Она у меня все делает: моет, убирает, ходит за продуктами. Мне это удобно. Я ей плачу десять рублей в день. Пусть у меня живет, чем по мужикам болтаться. И вдвоем не страшно... Представляешь, мы вчера устроили банный день, ночью, часа в три... Помылись, ходим себе нагишом, волосы сушим, и Лилька вдруг говорит: «Ой, там мужик!» И я вижу в окне морду какого-то мужика, прилепился к стеклу, глаза вытаращил. Ты же знаешь, там можно к окнам подобраться. Если б не Лилька, я бы тут же рехнулась от страха. Вообще у меня квартира какая-то страшная – когда я одна, я всю ночь свет жгу – всю ночь что-то скрипит, охает, стонет, да еще крыса приходит... Я ее уже месяц гоняю – не могу же я ее убить. Наверно, это кто-то из бывших жильцов... Не хотела бы быть в будущих инкарнациях крысой.

– Почему ты меня никогда не попросишь помочь?

– Что ты, Игнат, я уважаю твоё время.

– Я все равно убиваю его без тебя.

– Ты должен работать. И потом Лилька – она мне не мешает. Что есть она, что нет ее, – сидит или лежит, что-то там почитывает. Я ее и не замечаю. А тебе я должна уделять внимание, я не могу иначе. Ну, если уж ты настаиваешь, помоги мне постирать куртку. Она такая толстая, мне с ней не справиться.

И я прилетел, счастливый раб. Я купал в ванне зимнюю Улиткину куртку, а Улитка рисовала, играла на пианино, отвечала на телефонные звонки. Дверь я не закрывал, и под плеск воды Улитка разговаривала со мной. Один ее знакомый художник обещал ей холсты на подрамниках, уже загрунтованные. Он делает все сам, очень аккуратно, только она еще не знает, во сколько это ей обойдется. Конечно, если он заломит сумму... Но не должен. Картины его она еще не видела. Мы можем вместе сходить в его мастерскую. Нет, лучше сначала она ходит сама, а то он еще раздумает продавать холсты. Он авангардист и еще ни одной своей работы не продал. Она не знает, сколько ему лет, на вид около тридцати. Он-то и познакомил ее с йогами, он сам там занимается, только в другой группе и на другом уровне. А еще один тип из их группы пытается за ней ухаживать, он кооперативщик, и у него куча денег и «Жигули»-девятка, после занятий он подвозит ее и все ждет, когда она его пригласит зайти, а она не приглашает. Она чувствует, что не картины ему нужны. А так он ей совсем не нравится; если бы не занимался йогой, вообще был бы жлобом.

Куртка плюхала, как беременная тюлениха, а Улитка набирала номер телефона. Я понял, что она говорит с этим самым художником. Я старался особенно не прислушиваться, но прежний, тяжело раненный, хоть и выживший зверек против моей воли насторожился во мне и наставил уши. Мне было стыдно подслушивать, и я оглушал себя плеском.

– Это Игнат, – сказала в трубку Улитка. – Я тебе говорила. Это мой друг. Он мне тут куртку стирает... – и я услышал ее улыбку.

И еще я услышал:

– Ой, я просто умираю от любопытства. Когда ты покажешь мне свои картины? Они у тебя на казеине? На осетровом клее? Ого! Ну и что... Тебе же мои не понравились. Понравились? Ты же говорил, что нет. Да, в этом ты прав, но технику можно нажить, а вот остальное... Технику я подгоню, не волнуйся. Когда ты мне позвонишь? Завтра? Ну хорошо, я буду ждать. Только не обманывай, я человек обязательный. Раз договорились... До свидания, – и я услышал, как трубка легла на рычажки.

Обычный приятельский разговор, рассчитанный на мои уши, на мое понимание Улиткиной свободы. Это был как бы наш собственный с ней разговор о наших правах и наших границах. Это был урок наших отношений, как их понимала Улитка. Урок для меня. И все было бы прекрасно, если бы не ее интонации. Так когда-то говорила она со мной, полная живого, отзывчивого любопытства к моему миру. Я вытащил наконец куртку, которая весила килограммов сто, – вода стремительно вытекала из нее, и куртка стремительно легчала. Улитка помогла ее повесить. Ее благодарность была подчеркнутой, а в глазах читался вопрос – как я принял разговор, не взревновал ли. Все нормально, отвечал я глазами, но чувствовал, что мышцы моего лица чуть зажаты, и улыбался, чтобы расслабить их. Я спокоен, я абсолютно спокоен, мои морщины разгладились, мой лоб, щеки, губы, подбородок – все спокойное и прохладное, мое «я» – в пределах меня самого.

А когда я позвонил ей на следующий день, тут же почувствовал, что она не одна.

– Знаешь, мне сейчас трудно с тобой говорить, – сказала она. – Я очень спешу, – но не было в ее голосе ни торопливости, ни спешки. Голос оправдывался. Ведь это я сам ей советовал так отвечать на несвоевременные звонки: что убегаешь, что вернулась с порога...

– Знаю, как ты спешешь! – вдруг услышал я самого себя. – Желаю успеха, пока! – я бросил трубку, сердце мое колотилось.

Была Пасха. Так вот почему она отказалась пойти со мной в Никольский собор на Всенощную. Она предпочла этого подклеившегося осетра. Город не спал, в Николе Морском, как

всегда, пел хор Мариинского театра, дома на кухне засыхал неосвященный кулич и пирамидка творожной пасхи, которой я обещал угостить Улитку, – в полночь я набрал ее телефон, но, конечно, никто не откликнулся.

Еще двое суток прошло в телефонном безмолвии, и вот под вечер мой телефон зазвонил и в трубке раздался голос Лильки:

– Игнат, куда ты пропал? Улитка тут страдает из-за тебя.

– Не понял, – сказал я. Только что я умирал от тоски и безысходности, но вот уже – бодр и самоуверен. Хорошо, что у меня такой голос. Так ей и надо.

– Чего «не понял»? Мы тут два дня сидим, никуда не выходим. Улитка ждет, что ты позвонишь, а ты не звонишь. Она тебя боится.

– Пусть спит спокойно, – улыбнулся я. – Завтра позвоню, – и, счастливый, положил трубку.

Вот так. Только так. И никак иначе! Нет, если все слишком хорошо, то это плохо. С Улиткой надо играть, постоянно играть. Не соскучишься.

С Осетром у Улитки вышел конфуз. Осетрина оказалась с душком, и я тихо торжествовал. Потом она мне рассказала:

– Ой, он такой самовлюбленный, мне это не интересно. А картины у него... Я-то думала, там у него какое-то другое измерение, выход в астрал... а он, по-моему, просто передрал мое «Чаепитие». Он ведь был у меня, вот и передрал. Там такая же женщина у него, только срез лица он покрыл сусальным золотом. По-моему, у меня органичней. А у него все плоско, заданно, как картинка в букваре. Но какие холсты, какие рамы! Он очень себя любит, только себя и любит.

Ну да Бог с ним, я и так чувствовал, что это несерьезно, что это вообще никак. Так, каприз, «экспромт», попытка забыть своего красавца Бадри, забаррикадировать уход от него. О нем мы больше не говорили, и я склонялся к мысли, что там все кончено, а если еще и нет, то висит на последней ниточке. Одно движение, и... Но вроде они иногда еще встречались. Да и магнитофон его стоял у нее – тот самый, под который он одолжил когда-то деньги. Но деньги он вернул, а магнитофон не забрал. Я мечтал, что приду в один прекрасный день, а магнитофона нет. Иногда я наткался в пепельнице на окурки «Мальборо» – в ту пору десять рублей пачка на черном рынке. Бросил ли он карты? Наверняка. Потому-то Улитка и успокоилась. Только его беда могла удержать Улитку возле него. Еще какая-то история, спокойно рассказанная Улиткой как доказательство, что их отношения сошли на нет. Как-то он заглянул к ней под вечер, а когда шел обратно (не оставшись на ночь!), на улице его остановили трое, попросили прикурить. Пока один прикуривал, другой зашел сзади, а третий сбоку стоял. А Бадри, недаром спортсмен, баскетболист, реакция отменная, спиной уловил замах сзади и резко нырнул в сторону, так что тот, который был за спиной, угодил по затылку прикуривавшего. Они хотели его раздеть – на нем было дорогое кожаное пальто из лайки, но он тут же двоих уложил, а третий убежал. По его словам, ему, врачу, было больно их бить. Он жалел их, недоумков. Он старался бить так, чтобы не сломать им кости. Я думал потом, зачем она это мне рассказала. Не для устрашения же. Наверно, чтобы оправдаться, чтобы я знал, что он настоящий мужчина и достойный человек, что к недостойному она бы не привязалась...

Но вскоре я почувствовал, что у нее опять кто-то появился. Телефонные разговоры были странными, и за полночь ее еще не было дома. Я не знал, что и думать. Раза два я устраивал засаду, чтобы выследить, с кем она. Презирал себя, плевал на себя со стороны, но ничего не мог с собой поделать. Алчный зверь, у которого отнимают законную добычу, пробудился во мне и жаждал крови. Я думал, что восхожу. Что, проходя неизвестными прежде путями, я обучаю чувства и голову, но чувства не захотели больше обучаться – они ошетинились, цепляясь за свое, и бедная моя голова боялась к ним приближаться. Мой наблюдательный пункт был в доме напротив Улиткиного, и с подоконника пятого этажа я следил за двором, за входной дверью, с собой у меня была книга, и я принимался читать, чутко прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь. А когда хлопала и во дворе было пусто, это означало, что кто-то вошел, я всматривался, не вспыхнет ли

свет у Улитки. В своих сумеречных комнатах она включала свет даже днем. Или же сейчас свет ей был не нужен, и, скатившись на второй этаж, я судорожно вглядывался из окна лестничной площадки в ее слепые окна, чтобы уловить какое-нибудь движение в незакрашенных уголках ее витражей, чтобы увидеть ее кисть, протянувшуюся между рамами, где хранились продукты. Должны же ОНИ выпить чаю с медком... Когда же мне становилось окончательно ясно, что Улитка дома и не одна, я бежал вниз, пересекал двор, неслышно открывал и закрывал за собой входную дверь и, подкравшись, замирал возле заделанной мною дырки в Улиткиной двери. Квартира молчала, но молчание могло быть и живым, и я принимался звонить. Что я намеревался сделать, если она дома? Я не собирался устраивать скандал – с меня было бы достаточно знать, что я обманут. Я бы узнал и ушел. Сразу бы повернулся и ушел, без разговоров, навсегда. Я звонил, звонил, а квартира молчала, и я понимал, что Улитки нет.

А вечером она вдруг сама возникала в телефонной трубке и жаловалась, что устает после занятий, что ей было плохо и скучно и она ходила в кино на какую-то двухсерийную туфту. «Вообще-то фильм интересный. Там есть один актер, он чем-то на тебя похож, он...», и она принималась рассказывать, творя летучую версию нашего бытия, и я слушал, и мое окаменевшее сердце снова становилось хлипким, послушным комочком, согласно бьющимся в такт ее словам: «Да, да, да».

Знала бы она, что я тут вытворяю.

Мой день рождения мы решили отметить у меня, матушка сказала, что мы ей не помешаем, лишь бы только музыка была не слишком громкой, а дверь она со своей стороны завесит одеялом и будет спать. И чтобы я отключил в ее комнате телефон – у нас было два аппарата.

Вечер удался, и Улитка была королевой бала. Я предлагал ей привести кого-нибудь из своих подруг, но она сказала, что, раз это мой праздник, пусть будут только те, кто мне дорог. Под занавес раздался телефонный звонок, кто-то спяну взял трубку, и Улитка вдруг быстро испуганно сказала:

– Меня здесь нет! – и, словно очнувшись, добавила со смешком: – Мало ли кому я понадобилась.

Она осталась у меня на ночь, и то ли от вина, то ли оттого, что мы давно не были вместе, Улитка была непривычно страстной, отдающей, шепчущей какие-то свои заклинания.

XX

На день рождения она подарила мне свою картину, ту самую, с женщиной, за которой тянется толпа чудовищ. Я повесил ее ближе к окну, потому что она оживала только на дневном свете, и часто глядел на нее. Я помнил ее рождение – из ничего, из разводов, оставленных тряпкой; какой же там смысл? Да и есть ли он? Чудовища с мерцающими глазами появлялись из полунощного моря и женщина-троеручица тайком передавала нож вурдалаку, признающемуся ей в любви. Во второй левой руке она держала батистовый платочек и щелкала пальцами опущенной правой руки, как бы досадуя, что неверно рассчитала ходы. Вторая женщина, безликая, смотрела на нее расплывшимися пятнами глаз из-за парусов корабля, а старик у нижнего среза картины настойчиво смотрел на меня, словно хотел что-то подсказать.

– Найди мне кого-нибудь, – просила Улитка. – Мне надоело Лильку рисовать. Она, конечно, видная девица; когда мы вместе, только на нее и смотрят, но у нее вульгарное лицо. Она мне надоела. Найди мне кого-нибудь с хорошим лицом.

Лилька и вправду была вульгарной, но это ей подходило; мне нравилось, как она танцует, нравилось, как она открывает рот в танце... она была без тормозов и горой стояла за Улитку, но и ее часто отлучали от Улиткиного дома.

Поздно вечером в вагоне метро напротив меня села молоденькая девица, я машинально глянул, снова сунул в книгу, а это был не кто-нибудь, а Владимир Соловьев, но дивный будоражащий его текст, похожий на утренний ветер с моря, вдруг перестал до меня доходить,

словно повернув вспять, – я почувствовал, что моя оболочка прорвана и я больше не один. Я снова поднял глаза и посмотрел на девуцу. И тут я понял: сквозь пустенькое выражение ее лица проступали поразительные черты. Лицо лепили как бы два континента – Африка и Европа. От Африки была нижняя часть – точеный подбородок, выдвинутые, чувственные, развернутые губы, а от Европы – чистый лоб, прямые брови, тонкие ноздри. Но поразительнее всего были глаза – карие, глубоко посаженные в узкий, раскосый разрез век, скорее глаза прекрасного зверька, чем человека. Глаза эти приметили мой взгляд, скакнули в сторону, но снова исподтишка глянули на меня. В них было любопытство. Следующая остановка была моей, последней, и все вышли. Я нагнал девуцу и тронул за рукав куртки. Она обернулась. Лицо ее было приветливым. Если бы она обернулась агрессивно, я бы извинился и пошел себе дальше. Но у нее, видно, был добрый нрав. Я тут же сказал ей про ее лицо, и что именно такое лицо ищет моя знакомая художница для своей картины. Девуца мне вроде поверила. Наверху, на улице, я попросил у нее телефон. Она назвала, и я записал.

– А почему вы думаете, что я вам не наврала? – сказала она.

– Не знаю, – сказал я. – Я вам верю.

– Да, это мой телефон, – подтвердила она.

Она сказала, что свободное время у нее есть и она согласна попозировать. Она назвалась Несси. Так ее зовут друзья. Родители к этому привыкли. А вообще-то она Элла. Ничего себе имечко. Уж лучше Несси.

На следующий день я повез ее к Улитке. Я спешил по делам и пробыл с ними недолго. Улитка поила Несси чаем и рассказывала про нас. Она говорила, что мы собираем вокруг себя интересных людей.

– Но я совсем не интересная, – сказала Несси.

– Это еще не известно, – сказала Улитка. – Мы собираем интересных и красивых людей.

По Улитке я не понял, удачна ли моя находка, и ждал вечернего звонка.

– Ты знаешь, – успокоила меня Улитка, – она очень хорошая девочка. Очень добрая. И очень несчастная. Работает на какой-то кондитерской фабрике. Родители развелись. Она очень не уверена в себе. И конечно, абсолютно невежественная. Она вообще ничего не знает. Но она так потянулась ко всему нашему, ко мне... Она сказала, что таких людей, как мы, еще не встречала. Я учила ее играть на пианино. Я надписала ей клавиши, и она играла. Ой, у нее такое лицо! Эти глубокие глазки, этот носик, эти влажные губки. У меня в детстве, помню, такая кукла была, немецкая. Только я ее не любила. Я вообще в куклы не играла. А имя какое – Несси! Это в честь того чудища из Шотландии? Она, когда уходила, расплакалась. Сказала, что это сон, что так хорошо ей никогда еще не было. Бедная... Мы ей поможем.

Для начала Улитка отказалась в ее пользу от своего билета на концерт страшно популярной немецкой рок-группы. Билеты достались мне по великому благу, и, хотя я к подобной музыке был равнодушен, я полагал, что рядом с Улиткой пойму больше.

– Сама с ней сходи, – сказал я. – Ты же хотела послушать.

– Нет, я все равно занята, – покачала головой Улитка. – Ко мне вечером один коллекционер должен подъехать. Он только на день из Москвы. У него есть Врубель, «Ангел с кадильницей», один из вариантов. Я все к нему подбираюсь... Идите. Ты потом мне расскажешь.

И я поехал с Несси. Рядом с ней я мог выступить разве что в роли папы или дяди, и молодые люди в метро, не слишком меня стесняясь, пялились на нее. Несси тоже стреляла глазками, оборачивалась, показывала язык.

– Ты себя не уважаешь, – сказал я. – А заодно и меня.

– А что они вылупились?

– Ты красивая, я их понимаю. Но ты должна вести себя иначе. Ты не должна суетиться, тем более если рядом с тобой мужчина.

– А что я должна делать?

– Не обращать внимания. Ты со мной, и все.

– Хорошо, я не буду. – Несси неуверенно хихикнула и еще более неуверенно взяла меня под руку. Жесты у нее были немного деревянные.

– Ты с отцом ходила когда-нибудь в театр, в кино?

– Еще чего... – хмыкнула Несси.

– Наверно, тебе со мной неловко?

– Нет, нормально. Мне нравятся такие...

– Какие такие?

– Ну, как ты.

– А парень у тебя есть?

– Спрашиваешь...

Почти за каждой ее фразой следовал смешок.

– Я имею в виду – парень, которого ты любишь.

– Петька. Только я его не люблю. Он меня любит. А я ему изменяю.

– Зачем?

– Хм... много будешь знать.

– Он кто?

– А... инженер. У него жена есть, ребенок. А он говорит, что меня любит.

Так мы с ней и разговаривали, поспешая в крикливой и гульливой молодежной толпе к огромному зданию, похожему на кусок турбины, выкрашенный белой краской. Походка у Несси была враскачку, с ноги на ногу, плечи опущены, а мерзнущие на вечернем майском ветру кисти спрятаны в длинные рукава спортивной куртки.

– Ты что, греблей занималась?

– Не-а. Плаванием.

– А «Скорпионс» тебе нравятся?

– Будто бы нет...

– Что, нравятся?

– Спрашиваешь...

Места у нас были хорошие, в партере, но пространство между первым рядом и эстрадой уже было запружено толпой, и нам пришлось перебраться повыше.

– Я тоже туда хочу, – кивнула Несси в сторону толпы. – Я всегда там. Там тусовка. Все прыгают, танцуют. Я тоже танцевала. Два часа... – лицо ее приняло мечтательное выражение и стало красивым. Красивая импортная кукла с закрывающимися глазами.

– Ну иди, – сказал я.

– Не, с тобой буду. Ты обидишься.

– Ради Бога! Иди. Найди какого-нибудь мальчика.

– Ну их. Они мне надоели. Мне с тобой нравится. Ты что, любишь Улитку?

– Люблю.

– Она мне тоже очень нравится. Вы меня не бросите?

Концерт оказался, что называется, ничего себе. Я ожидал худшего. Немцы работали добросовестно. У солиста был голос, а у группы были мелодии. Толпа перед эстрадой бесновалась, жгла бенгальские огни и вскидывала руки с двумя выставленными пальцами – указательным и мизинцем. Так в детстве мне изображали козу-дерезу. Сотни черных рожек на фоне стреляющей светом, задымленной сцены... Это были они, улитки.

– Ты знаешь, у нее способности к живописи, – звонила мне Улитка. – Только к абстрактной. У нее такое чувство цвета... Я учу ее, как пользоваться красками. Мы вместе будем писать картины – она начинает, я заканчиваю. Ты ведь все время занят... Она хорошая, добрая, она мне совсем не мешает. Только надо ей другую работу подыскать. Она же на кондитерской фабрике, по восемь часов на ногах с этим кремом, с тестом... А мужики там отнимают у девочек коньяк, который на торты идет. У нее все время неприятности. Я говорю – уходи. Не ходи на работу, и все. Пусть будет прогул. Пусть увольняют. Хоть по статье. Ей же восемнадцать лет. Она эту трудовую книжку выбросит и другую заведет... Мамаша ее – тоже мне! Эксплуатирует дочь. Сама устроилась на тепленькое местечко – сторожит что-то два раза в неделю за девяносто рублей. А дочь должна сто восемьдесят приносить. Я с мамашей уже говорила. Ой, знаешь, у нее прямо страшно. Пустая квартира. Представляешь, совсем пустая. Ванной комнаты нет. Одна жалкая облезлая раковина на кухне. С мужем она развелась, но он живет тут же, в другой комнате. Муж – пьяница, он тащит у них что ни попадя и пропивает. Мамаша счастлива, что я за Несси взялась. Уже клонит к тому, чтобы я ее и содержала... Ну и родители. А Несси привязалась ко мне, как собачонка. Куда я, туда и она. Я ей говорю: я тебя сделаю настоящей женщиной. Введу ее в круг хороших людей. Надо мне ее с кем-нибудь познакомить. Ей замуж надо. Она из тех, кому нужно замуж. Одна она погибнет. Она без хребта, без характера. Куда помянут, туда и идет. Я чувствую ответственность за нее. Надо ее сводить к Диме. Пусть посмотрит его коллекцию – пора ей приобщаться к красивому. А он пусть тоже подключается к ее воспитанию.

Теперь часто, когда я звонил Улитке, она говорила: «У меня Несси».

– Она не мешает тебе?

– Нет, что ты.

Жених все не подыскивался. Тростник, друг Бадри, Несси не прельстился. «Слишком большая ответственность, – вроде бы сказал он. – Я не могу это взять на себя». Зато Дима проявил активность.

– Ты зря волнуешься, – говорила мне Улитка. – Он ей ничего плохого не сделает. Он же импотент. Женщины ему не нужны. Ему лишь бы покрасоваться в ее компании да глазки построить. Он ей как папаша. Водит по музеям, на выставки... объясняет. Она его слушает.

Вдруг позвонила сама Несси и попросила о встрече.

– Зачем? – не очень вежливо спросил я.

– Просто так, – сказала она. – Мне плохо...

– С Улиткой поссорилась?

– Не знаю... – замялась она.

Я встретил ее у метро, и мы пошли пешком по майскому теплу, заглянули в кафе. Я заказал два кофе и пирожные. От пирожных она отказалась:

– Я сладкое не ем.

– Так зачем я тебе понадобился?

– Не знаю... Просто так... – Несси хохотнула.

– Так что у тебя с Улиткой?

– Ничего.

– А что плохо? Дома? На работе?

– А... там всегда одинаково.

– Петька бросил?

– Я сама его бросила. Надоел.

– Кто же у тебя теперь?

– А... всякие там. Армянин один... фотограф. Позвал фотографировать. А потом в постель потащил. Противный такой. Жениться, говорит, на тебе хочу.

– Ты что, переспала с ним?

– А что делать... – Несси хохотнула.

– Он же противный.

– Да нет, ничего себе.

– Зря... – сказал я. – Тебя там вроде воспитывают – Улитка, Дима. Дима к искусству приобщает, мне Улитка рассказывала.

– Ну, конечно, к искусству... – хмыкнула Несси. – Она только с ним познакомилась, он сразу полез. Мы в ресторане были, а потом вдвоем к нему пошли. Пьяные были. А потом я вижу – Улитки нет. А он лезет на меня, совсем заколебал. Я вырвалась и побежала вниз. А она уже в такси садится. Я как закричу: «Улитка, не бросай меня!» А она все равно уехала. А Дима догнал и вцепился...

– И ты вернулась к нему?

– Еще чего... Я пошла пешком. У меня денег не было. Дошла до Улитки. Она меня не пустила. У нее был Бадри. Она дала мне денег на такси и дверь захлопнула.

Дальше я слышал плохо.

– Ты что такой? – спросила Несси. – Ты что, любишь ее?

– Не знаю, – сказал я.

– А я тебя люблю, – сказала она и хохотнула.

Про Бадри Улитка рассказала сама:

– Он у меня целую неделю жил. Я придатки простудила, и он колот меня через шесть часов антибиотиками. Он знает мои болячки. Замучился, бедный, у него сессия, а тут я, старая больная кляча.

И я не посмел ни слова ей сказать. Но история Несси не шла у меня из головы, и я сам ей позвонил.

– Хочешь, я к тебе приду? – сказала она.

– Нет, лучше погуляем, – сказал я.

Мы пошли в то же кафе, но оно было закрыто, и мы вышли на берег залива. Дул свежий, но теплый ветер, засинивший болотно-оливковый цвет Невской губы.

– Почему ты не хочешь, чтобы я тебя любила? – спросила Несси.

– Потому что я старый, – сказал я. – Через десять лет я буду совсем седым и старым, и ты меня бросишь. А я не хочу, чтобы меня бросали.

– Ты просто любишь Улитку. Она лучше меня.

– Любишь – не любишь... Лучше расскажи про себя.

– Ты для этого меня позвал?

– А ты хочешь, чтобы я, как Дима, к тебе полез?

– Уй... он такой мерзкий. А Бадри красивый.

– Ты что, познакомилась с ним?

– Угу. Мы провожали Улитку на эту самую, на йогу. А потом вернулись к ней. У Бадри есть ключ. Я думала, что мы будем целоваться, а он это... он взял меня на руки и отнес на диван. Постоял, посмотрел и сел на пианино играть. Он сказал, что меня не тронет. А мне хотелось.

– Ты бы его полюбила?

– Да... Но он любит Улитку. А она на нем висит: «Мой Бадри, мой Бадри...»

И снова потемнело у меня в глазах. Это крокодил солнце проглотил.

– Ну вот, – сказал я мертво, – а ты собираешься меня любить...

Бедная Несси, никому мы с тобой не нужны.

– Ты что, разочаровалась в Улитке? – спросил я на обратном пути.

– Немножко. Я думала, она лучше. Она меня больше не пускает к себе. Говорит, что я ей мешаю. Она снова с Лилькой.

– Ты все там же, на кондитерской фабрике?

– А где же еще... – хохотнула она.

– Улитка вроде хотела помочь.

– Сейчас... поможет она... Ей некогда, она с Бадри.

– Что, правда тяжело?

– Спрашиваешь... Сам бы попробовал. Еще мужики пристают...

– Коньяк просят?

– Ко мне пристают. А скажешь «нет» – избыют. У нас там только урки работают.

– Ты же одна, а их много.

– Не, не одна. И к другим девчонкам пристают. Только ко мне больше, – Несси хохотнула.

– Ну, так позови начальство, милицию.

– Зачем? Мне его жалко.

– Кого?

– Женьку. Он два года отсидел. А теперь его не прописывают. Он детдомовский. Он совсем один. Ночью он мне говорит: «Маленькая моя, маленькая моя». Жениться хочет.

– А ты?

– Не, я его не люблю. Он пьет. Когда выпьет, лучше ему не попадаться. А так он добрый. Я один раз его пожалела, а теперь он проходу не дает.

А Улитка, давясь от смеха, рассказывала мне очередную историю, из которых и состояла ее жизнь – жизнь как сумма историй, роман, разбитый на главы; интересно, где помещался я – в отдельной главе или же был одним из сквозных героев? Я слушал ее, но уже не так внимательно, как раньше. Часть меня отделилась и существовала теперь в стороне, наблюдая за мной, за Улиткой, и намерения этой отделившейся части были мне не вполне ясны. С этим успеется, говорил я, отодвигая эту часть плечом, но странно – то, что она была теперь у меня за спиной и в любой момент могла понадобиться, грело меня. Я стал спокойней, чем раньше, спокойней и уверенней.

Улитка собирала истории, а я начал собирать ее недостатки. Она не хотела учиться, она мало читала. А как она относилась к людям? К своим бесконечно сменяющим одна другую подружкам? Нуждалась в них? Но легко и расставалась. Без сердечной боли. Да полно, любила ли она кого-нибудь? Умеет ли она любить? Она окружает себя одноклеточными, чтобы быть царицей бала, инфузорией в тувельках, принцессой простейших, – она окружает себя одноклеточными, потому что они глупы и добры. И она ими помыкает. А кто я? Тоже простейший? Или не совсем, потому-то ей непросто, неудобно со мной. Я для нее как укор, как соломинка в глазу. Я свидетель ее прожигания жизни – я один из всей ее гоп-компании понимаю, что она прожигает жизнь. Ей приходится оправдываться передо мной. Ей со мной не в кайф.

И я решил с ней поговорить, но она почувствовала и ускользала, переводила все на шутку или вдруг ни с того ни с сего принималась что-то увлеченно рассказывать – то бишь заговаривать зубы. Но тема повисла в воздухе, в паузах молчания заявляя о себе, и по выражению Улиткиного лица я видел, что она догадывается, о чем я молчу. Впрочем, что мне было до ее недостатков... Если б не Бадри, если б не он...

Однажды днем я сидел у нее, когда он позвонил. «Вы чувствуете друг друга». Улитка отвечала уклончиво, стремясь поскорее свернуть разговор. Для этого был наработан прием – начать что-нибудь рассказывать. Пусть невпопад. Но ревнивец Бадри учуял постороннего.

– Да, не одна, – ответила Улитка, стараясь быть честной.

– У меня Игнат, – ответила Улитка, стараясь быть очень честной. – Сидим, пьем чай.

– Ну, перестань, – сказала она.

– Прошу тебя, перестань, – сказала она.

– Не надо. Пожалуйста, не надо, – сказала она. – Сколько можно говорить на эту тему...

И в этот момент раздался звонок в дверь – это, как обещал, заскочил на секунду Дима за своей штуковиной.

– Это Дима пришел, – сказала Улитка в трубку. – Ну что, теперь успокоился?

Ясно, что успокоился. Я бы так точно успокоился. Ведь я бы не знал, что Дима только сунется в дверь, поздоровается и тут же исчезнет, так как внизу ждет такси, а Дима не любит, чтобы денежки тикали зазря. Мы снова остались одни, даже чай не успел остыть, и ничто нам теперь не мешало заняться, скажем, любовью, ничто и никто – ни молодые ревнивцы, ни старые импотенты. Я торопливо глотнул чаю, словно на дорожку, на дальнюю дорожку, вздохнул поглубже и сказал, что мой час настал. Ухожу. Единственное, чем я могу ей помочь, это своим уходом. Впрочем, если будет во мне нужда, она может позвонить. «Мы остаемся приятелями», – сказал я. Если это ей нужно. «Я буду твоим прохладным приятелем», – сказал я, улыбаясь, чтобы губы не дрожали. Она тоже заулыбалась. «Прохладный», «прохладно» – ее любимые слова. Она любила состояние прохлады. В таком состоянии ей особенно хорошо работалось. Прохладно – это когда высоко и одиноко, это дух. А тепло – «мне тепло с тобой, ты меня согрел» – это слишком земно, телесно, это когда вдвоем, это плоть. «Я буду твоим прохладным приятелем», – сказал я и ушел. Как приятель. И даже поцеловал ее на прощание. И по ее глазам я понял, что она хоть слегка и опечалена, но отпускает меня. «Раз ты, Игнат, так решил... Я понимаю тебя, Игнат... Сейчас я не могу его бросить... Нет, я не люблю его... Я и так уже голову сломала, как быть... Все кончится тем, что появится кто-то третий... Нет, муж мне не нужен».

Когда я ехал домой, я подумал: теперь она его бросит, раз теперь ей ничто не мешает быть с ним.

Человек вроде привыкает к боли. На сей раз боль показалась несильной, может потому, что из средостения разлилась по всему телу, по всему городу, по всей Вселенной. Вселенская боль. Нет, это уж слишком. Глянув на меня, никто бы не поверил, что я несу вселенскую боль. Улитка не звонила, и в груди у меня стало закипать бешенство. Бешенство или ненависть, которую невозможно сдерживать. Но когда я набрал Улиткин номер телефона и спросил что-то про жизнь, про дела, Улитка тут же сказала:

– Игнат, пока у тебя такой голос, я не могу с тобой говорить.

– У меня нормальный голос, – мгновенно превращаясь из волка в ягненка, кротко отвечал я. Но Улитку нельзя было обмануть.

– Что с тобой, Игнат? Ты сначала приди в себя.

– Я в себе, я только хотел сказать... – но я уже не мог выговорить то, что собирался. Какую-нибудь формулу обвинения. Или что-нибудь такое, чтобы она сказала: «Приезжай ко мне», а я бы ответил: «Я к тебе больше никогда не приеду».

Мне хотелось ее боли. Но она ускользала. Услышав мой безумный голос, она говорила:

– С таким тобой я не могу разговаривать, я кладу трубку. Прости, Игнат... – и я слышал гудки.

С месяц, весь почернев, я днем и ночью носил в себе свою ненависть, не зная, куда ее деть. По моим расчетам Улитка должна была уже бросить Бадри и понять наконец, что только я ее будущее, и, пока она этого не поняла, пока не хотела понимать, я ее ненавидел. Я вспоминал все, за что она заслуживала ненависти, и ненавидел. Она обманывала меня всегда, с самого начала. Никто ее не уводил, не принуждал – это все она сама. Этот Бадри возник чуть ли не на следующий день после моего отъезда на Север. Она несла тяжелый арбуз и он предложил помощь. Вместе они и съели тот арбуз. А потом она ему сказала: «Можешь остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно». Так оно и было, Несси не придумала. Помимо меня Улитка была и с другими, у нее всегда кто-нибудь был, потому что у нее не было сердца, потому что у нее не было секса, а только спокойное холодное любопытство – как с теми лягушатами. И с Димой, конечно, она тоже была. А с этим осетровым авангардистом, про которого она сказала, что он «изящный самовлюбленный мальчик», она прокрутила роман чуть не на моих глазах. Какого рожна ей нужно?! А потом я ужасался своих мыслей и молился, чтобы Бог их не услышал и не передал ей.

И она наконец позвонила. Был поздний вечер. Матушка спала в своей комнате, и я, как всегда, отключил ее телефон – ведь Улитка могла позвонить и ночью.

– Игнат, здравствуй, – сказала она. Голос ее был спокоен, хотя и такой он обычно нес ее настроение. А тут он был без ничего, с ничем. – Игнат, у меня неприятность, – спокойно сказала она. – Большая неприятность.

– Что случилось? – Сердце мое упало и возликовало одновременно.

– Только что у меня был Дима. Пьяный в стельку. Он разбил все мои вазы, лучшие вазы из моей коллекции. Вся комната в стекле. Хорошо хоть, что котенка не раздавил.

– У тебя кот?

– Я взяла маленького дымчатого Генри. Бедный Генри едва ноги унес. Черт с ними, с вазами, главное, кот жив...

– Где Дима?

– Уже убежал.

– Мне приехать?

– Нет... Тут такой разор... Мы сами уберем. Лилька тут. Он ей чуть руку не сломал. А мне синяк поставил... Что ты молчишь?

– Я не молчу...

– Он позвонил по телефону, уже пьяный. И я с ним поругалась. Сказала, что он козел. Он же действительно козел. Жлоб и козел. Он наживает на мне. И вдруг звонок в дверь. Я никак не ожидала, что это он. Он ввалился и начал все громить. Мы с Лилькой не могли с ним справиться. Он был как сумасшедший. Все побил. Слава Богу, Генри жив... Приезжать не надо. Я не знаю, почему тебе позвонила. Просто так. Не знаю, что с ним произошло. Он никогда таким не был.

– До козла дошло, что он козел, – сказал я.

– Не знаю... Все... До свидания... Я потом тебе позвоню.

Она повесила трубку. А я понял, что произошло. Это моя ненависть случайно нашла Диму, наткнулась на него...

Протрезвев, Дима не на шутку перепугался. Наутро он стал звонить Улитке, просить прощения, но она была непреклонна. Она решила его не прощать. Она сказала, чтобы он возместил ей убытки, и на этом все кончено. Дима успокоился. Она не собиралась заявлять на него в милицию, натравливать на него своих друзей. Правда, взбешенный Бадри пригрозил отрезать Диме ухо – так, по крайней мере, она рассказывала мне по телефону, но до членовредительства, кажется, не дошло. Все-таки Дима был не тот человек, чтобы его наказывать. Он и так теперь наказан. Он обещал компенсировать причиненный ущерб – частично деньгами, частично предметами, всего на полторы тысячи рублей, как подсчитала Улитка. Но в ее глазах он теперь навсегда подонок и ничтожество. Настоящий коллекционер, ценитель прекрасного, не может поднять руку на красоту. То, что Дима разбил, уже не возродить. Это было, дошло до наших времен и теперь исчезло навсегда. Как бы в тепле, овевающем Улитку, оказалось несколько холодных зон. «У меня такая рваная аура, – жаловалась она мне. Это ей гуру сказал. – Нужно ее как-то восстанавливать».

Шло лето. С Улиткой я не встречался, только звонил иногда. Я сдал документы на поездку в Испанию и ждал, разрешат или нет. Я-то был уверен, что не разрешат, но времена менялись буквально на глазах, в интонациях власти стали проскакивать человеческие нотки, что-то обещалось, и обещанному хотелось верить. Как хотелось верить всегда. Буду умирать, вспомню день, когда я позвонил в ОВИР и мне сказали, что мне разрешено. О, это значило, что в моей

анкете, в моей биографии нет больше пятна, по которому нечистых отличали от чистых. До сорока пяти лет все сжималось в моей груди, когда передо мной клали анкету. Какое счастье, думал я раньше, вписывать в графы о близких родственниках заветные слова «не был», «не имею», какое счастье не иметь судьбы. Сколько лет мне снились тюрьмы, камеры. Но еще чаще камер мне снилось, как ломятся ко мне в дом, в мою дверь, а я не пускаю, я пытаюсь не пустить. Сколько ночей этой отчаянной борьбы, сколько ужаса и унижения страхом... Стало быть, я действительно ощущал себя виноватым перед властью. Днем я совершал преступления мысли, а ночью меня ждало наказание страхом, самонаказание. Но иногда я говорил себе: с тобой все в порядке, тебя никто не арестовывал, не допрашивал, ты никому не нужен, это тебе снится пережитое отцом и матерью, это прапамять... Может, она-то и велит мне изжить страх перед закрытой дверью, за которой чудится шорох чьих-то шагов? Может, она велит не запираяться больше на все замки, а смело распахнуть дверь – и окажется, что там никого и ничего, только солнце и ветер да загорелый трилистник плюща, скребущий по облупившейся краске... Так что же ты там хоронишься в углу, пора! Может, и вправду – пора?!

На радостях я позвонил Улитке и позвал в Кавголово, смолчав, что меня выпускают. Я молчал, потому что не верил, что поеду, поверить было невозможно. Улитка согласилась составить мне компанию. При всем своем чувственном отношении к природе она была скорее равнодушна к ней. «Я никогда не пишу с натуры. Мне это неинтересно». Она была городским человеком, городу же могла предпочесть только море – водную пустыню. Я не видел Улитку два месяца, и красота ее меня резанула. Она была в каком-то невозможно коротком платице – черной тряпочке с блестками, которая больше открывала, чем прикрывала, в корзине у нее копошился Генри, сопровождавший ее во всех прогулках – «ему тоже нужны новые впечатления», – и была весела и беспечна, ни следа разлуки со мной, будто таковой и не было. Я услышал то, что чаял услышать: после моего ухода ее отношения с Бадри резко пошли на убыль, она потеряла к нему интерес. Но что мне с того? Теперь у нее был другой мальчик, семнадцати лет, кандидат в сборную эсэсэср по волейболу, двухметровый красавчик, который моет у нее в мастерской пол, ходит за продуктами, который от нее ни на шаг, и она учит его рисовать и играть на пианино. У него хороший слух, и он делает успехи. Бадри, конечно, застрадал. Он-то был уверен, что лучше его не бывает. А она доказала – бывает... Она даже не искала – мальчик сам пошел за ней как замороженный. Иногда она его прогоняет, и он звонит по телефону, плачет и предлагает себя в мужья. Мы лежали на пригорке, поросшем малинником, возле моего любимого озера Хепо-Ярви, и моя рука, покоящаяся на обнаженной Улиткиной груди, не дрогнула. Я спокойно подумал, что у меня, прохладного Улиткиного приятеля, теперь, пожалуй, даже больше льгот, чем раньше. На обратном пути она нарвала всякой полезной травы, потому что йога рекомендовала травоедение, вдобавок я нес несколько копий камыша, сорванных у берега, и всего этого было так много, что я должен был бы проводить Улитку до дому, войти, попить с нею чайку, а потом, может быть, согреть ее изнутри, чтобы она сказала: «Как хорошо, как спокойно с тобой...» Но на трамвайной остановке что-то накатило на меня, я сказал, что спешу, перепогрузил на нее травы, отдал корзинку с Генри и пошел восвояси. Катитесь вы все к чертовой бабушке!

На следующий день я все-таки не выдержал и позвонил. Она ведь говорила, что сейчас одна, что волейболиста своего прогнала, что он надоел. Ответил мне молодой мужской голос. Я мрачно попросил Улитку. «А кто это?» – поинтересовался молодой голос. «Не все ли вам равно?» – сказал я. «Значит, нет, раз я спрашиваю», – сказал молодой голос. Я бросил трубку.

Еще две недели я не звонил. Иногда мне уже мерещилось, что я живу сам по себе, что я уже сошел с любовной орбиты и лечу себе в пространстве куда глаза глядят, но, если я проезжал Невский проспект, у меня сжималось сердце при виде засидки художников. Там могла быть и Улитка... Раз я выскочил из троллейбуса и пошел ее искать. Она, конечно, не одна – рядом будет или Бадри, который ей почти безразличен, или юный акселерат, который едва ли понимает, куда его занесло, – да, пора мне с ними познакомиться, даже парочка фраз завертелась в голове, в меру ироничных и остроумных; до мордобоя, думаю, дело не дойдет, я произнесу эту парочку ни для кого не обидных фраз и пойду себе дальше на легком катере. И все-таки сердце мое колотилось. Я был уверен, что она сидит у решетки Александровского сада, но ошибся. Не было ее и возле Думы. Я нашел Улитку напротив – перед бывшим Екатерининским костелом, где в прошлом году художники еще не гнездились. Вообще уличных художников стало много даже для Невского, и конкуренция возросла. Стоило только остановиться, как тебя тут же брали в оборот. «Спасибо, я

сам рисую», – отвечал я. Тогда предлагавший начинал извиняться за выставленные образцы своей уличной портретистики. Что тут могло мне нравиться год назад?

Улитка была не одна. Рядом сидела Несси. В корзине возились два котенка – дымчатый Генри и черно-бело-коричневый Чарли. Улитка подобрала Чарли на улице для компании скучающему Генри. На металлической треноге Улитка приспособила вращающуюся деревянную рамку с надписью «Лирический портрет». Это была ее новая реклама. Подготовка рекламы была ее самым любимым делом. Но конкуренция возросла, и никто к Улитке не садился. Одета она была странно – в белые широкие брюки, не достигающие до лодыжки, в черные, с зими, полусапожки, сверху белая мужская рубашка, которую я ей когда-то отдал. Улитка была не накрашена и показалась мне очень бледной. А Несси еще больше походила на кареглазую немецкую куклу, уже сильно загоревшую. Возле нее увивались два худосочных юноши училищного вида, тоже промышлявшие портретами. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на котят, позировать никто не хотел. К художникам привыкли и перестали их замечать.

– Несси со мной везде, – сказала Улитка. – Когда мне нужно отлучиться, она охраняет моих котов и мой этюдник. Она очень нравится фирмам. Они заказывают мне ее портрет и платят доллары и франки. Зачем мне их доллары? Чарли любит сырое мясо, а мясо на доллары не купишь. Я отдаю их Несси, чтобы она купила себе у фарцовщиков каких-нибудь тряпок. Пойдем, я соку хочу, – и Улитка крепко взяла меня за руку, вправляя свои чудесные живые пальцы между моими, так что во мне снова возникло обманчивое предвкушение праздника. Будто и вправду рядом с ней мир преображался... – Я как раз собиралась тебе звонить, – сказала она. – Ты не можешь найти человека, который пишет киносценарии? Может, ты сам напишешь?

– Что именно?

– Понимаешь, можно хорошо заработать. Приехал один кинорежиссер из Литвы. И ищет сценариста и художника. У него есть человек, который может вложить в фильм любые деньги. Миллионер. Ну вот, а эскизы буду делать я.

– Что за тема?

– На наш выбор. Понимаешь, людям некуда девать деньги, они хотят поощрять художников, поэтов, сценаристов. Вроде меценатов. Давай сделаем им фильм. Я уже назвала ему тебя. Он хочет познакомиться.

Она еще не договорила, а я уже видел – чушь, бред сивой кобылы, сон шизофреника.

– Ты не веришь, – потускнел голос Улитки. – Игнат, ты очень изменился. Ты стал мрачный, злой...

– Я тебе еще ничего не сказал.

– Я же вижу. Как хочешь... Можешь этим не заниматься. Тогда хоть назови мне кого-нибудь. Я не знаю сценаристов.

Фильм, меценат, режиссер. Кто-то из нас тронулся.

– Я подумаю, – сказал я. – Я тебе позвоню.

– Только поскорей, – сказала она. – Через три дня он уезжает...

– Кто?

– Режиссер из Литвы...

– Он у тебя живет?

– Ты опять о своем. Какой ты, Игнат, зануда... У нас с ним деловые отношения. У меня сейчас еще один дядечка живет, московский фотограф. Знаешь, у него очень интересные работы. Твоего

возраста, но живчик такой... Я в Москве на Арбате с ним познакомилась. Я хотела на Арбате заработать, а остановиться было негде. Жила в его мастерской. А сейчас сюда пригласила. Андрей звонит мне, а ему мужики отвечают. Он там, несчастный, с ума сходит. Говорит им по телефону: «Послушайте, зайки...» Представляешь, «зайки»... «Послушайте, – говорит, – зайки. Даю вам полчаса на сборы. Если я приеду, а вы еще там, возьму за уши и выброшу в форточку...» А у него друг такой же, как он сам, даже еще больше, гигант. Мои дядечки бледнеют, передают мне трубку, и я начинаю его стыдить. Разве можно себе такое позволять, никакой интеллигентности. Я делаю ему выговор – он плачет, извиняется... Потом он с другом приехал. Я их познакомила. Так фотограф знаешь как их теперь зовет – бройлерами! Смешно, да?

Сок был отвратителен. И местечко, куда мы зашли на этом жарком, липком, потном Невском, было соку под стать. И Улитке я больше был не рад. Я расплатился и пошел с ней обратно, хотя мне хотелось просто уйти. Мне хотелось свистнуть Несси и уйти с ней.

– Ой, я тут такой камин нашла! – схватила Улитка меня за руку. – В соседнем доме, который ремонтируют. В подъезде. Такой камин! Мрамор. В стиле модерн. Я там час проторчала около этих лилий. Потом поднялась по лестнице, вылезла в окно на леса, оттуда на крышу. Белая ночь, крыши, трубы, и я одна... И я пошла по крышам, пошла... Так хорошо, тихо, только немного жутко. В следующий раз я тебя с собой возьму...

XXI

С кинофильмом дело, естественно, не выгорело. Что-то там расстроилось – то ли режиссер резко разочаровался в Улитке, то ли она в нем, то ли меценат лишился своих миллионов, то ли все это было очередной Улиткиной фантазией. Вдруг ей понадобилась моя постель, хотя бы несколько мелков. Я решил, что это просто повод для встречи, только зачем? Голос у меня был мрачный, и, чтобы разрядить напряжение, Улитка рассказала мне историю про своих молодых котов:

– Представляешь, я ходила в гости к одному антиквару. Взяла с собой Генри с Чарли в корзине. Они у меня там так и спали, хотя им уже было тесно. А у антикара огромная квартира, уж не знаю, сколько там комнат... Ну вот, мне уходить, а Генри куда-то исчез. Мы все облазили, все шкафы, все углы, звали, звали – исчез, и все. Пришлось мне с одним Чарли возвращаться. Я думала, Генри найдется, позвонят. А он пропал. И знаешь, Чарли будто подменили. Два дня он бродил как потерянный, а потом, когда меня не было дома, разбил вазу на буфете и ушел в форточку. Все от меня уходят. Я только несчастье приношу.

Договорились, что я сам к ней зайду. В назначенное время я был у Улитки. На кухне два молодых грузина пили чай. Возле них стояла верзила Лилька, накрашенная сверх меры, как перед вечерним промыслом. Два молодых грузина разговаривали с ней между глотками чая. Лилька была в майке и в Улиткиных шортах, с натугой натянутых на ее литые бедра. Ноги у нее тоже были литые, и грузины смотрели на Лильку как два кондора, прикидывающиеся скворцами.

– Мы с Лилькой собираемся в Грузию, – радостно сообщила Улитка. – В Тбилиси. Сегодня улетаем...

– Зачем? – спросил я, хотя мне было все равно.

– Буду рисовать. Мне нужны деньги.

– В Тбылысо на партрэтах можна кхарашо заработать, – сказал один из грузин. Второй кивнул. Чаю им не хотелось. И на меня смотреть им не хотелось. Они смотрели на Лилькины загорелые ноги.

«Сколько можно прощать обиженного, – спрашивал Петр Иисуса, – до семи ли раз?» – «И ты полагаешь, что этого достаточно?» – возразил ему Иисус. – Не до семи, а до седмижды семидесяти». О, это не так уж трудно, когда любишь. Но если бы сам Христос был столь терпим и терпелив, он бы не страшил грешников адом. Тут у него явная осечка.

«Когда мы поедem с тобой на юг...» В Кавголово на берегу озера Хепo-Ярви мы вроде договаривались о юге. Она хотела ехать со мной – не с Андреем и не с Бадри и не с десятком других, прошедших для меня безымянно своих друзей, а со мной. Мы собирались еще с прошлого года. И вот она улетала без меня, с ногастой Лилькой.

Миновала еще неделя, и раздался ее звонок – вернулась. В Тбилиси было ужасно. Какие там портреты?! Едва они с Лилькой появились на улице, как их оцепило все мужское население города. Они прятались где-то у грузинских знакомых, на пятом этаже, а внизу всю ночь патрулировало несколько «волг», чувствуя, что добыча близко. Вроде даже обзванивали квартиры. Но им не позвонили, иначе бы конец – хозяев бы связали, а ее с Лилькой изнасиловали. Под утро подфарники «волг» сердито растворились в тумане, а бледный, с трясущейся челюстью хозяин вывел их с черного хода к своему гаражу и увез в горы на дачу, где они с Лилькой еще пару дней дрожали от страха, пока он доставал им авиабилеты обратно. Но на Ленинград билетов не было, и они улетели в Таллинн – видно, хозяин дома считал, что Таллинн вроде пригорода. Но это даже хорошо, потому что они посмотрели Таллинн. Они летели с одним дядечкой, чуть ли не главным редактором тбилисского телевидения, и он всю дорогу угощал их шоколадом и приглашал в гостиницу, если им негде будет переночевать, а им и в самом деле оказалось негде, так что поздно вечером они ввалились к нему, а поскольку номер был одноместный, бедному главному редактору пришлось интеллигентно провести ночь на полу, благо там был синтетический ковер, да еще они выделили ему простыню и подушку. Он уже был не такой жизнерадостный, как в самолете, а утром чихал и кашлял и предупредил их, что сегодня улетаet домой, хотя вчера говорил, что будет в Таллинне целую неделю. Он даже деньги им предложил на автобус до Ленинграда, хотя деньги-то у них были. Но в Ленинград вернулась одна Лилька, а сама она поехала во Владимир, мы же с ней вместе собирались и во Владимир, «но ты не захотел...». Не помню, чтобы я отказывался. Во Владимире было плохо. Мать, выгнав отца, ее тоже не пустила в квартиру, хотя там остались кое-какие Улиткины вещи. Мать навесила цепочку и разговаривала в дверную щель. Мать защищала свою новую жизнь с новым человеком и на появление Улитки сказала: «Это провокация!» Чего испугалась? Потом она пошла в завещанный ей дом бабушки, где теперь жил ее отец. Отец тоже оказался не один, а с женщиной, про которую он рассказывал Улитке. Женщина Улитке понравилась. Еще молодая, лет тридцати, с высшим образованием, то ли социолог, то ли юрист... Хорошая фигура, почти такая же, как у Улитки. Очень смутилась, увидев Улитку, да и отец застеснялся. Так что Улитка решила им не мешать и на следующий же день уехала. Вечером Улитка пришла ко мне в гости, валялась на диване, показывая свои ноги, съела почти всю коробку шоколадных конфет, болтала без умолку, принесла послушать кассету с музыкой, которая ей теперь помогала «работать», ждала, когда я наконец ее обниму и согрею, я не удержался, обнял, тронул груди – она сразу расцвела, заулыбалась, обмякла, – «у тебя чистые руки?».

– Что с меня требовать, Игнат! Разве можно с меня что-нибудь требовать... Ты ко мне неправильно относишься. Принимай меня как я есть, и все...

В самом деле – почти праздник! Вдруг она вспомнила, что обещала позвонить одному коллекционеру, заворчала, обзывая его жлобом, ибо только жлоб мог назначить деловую встречу в метро полдвенадцатого ночи... Стала ему звонить, и я с облегчением понял, что она сейчас уйдет. Договорились завтра встретиться, но она не позвонила, а я не стал напоминать о себе. Я согласился принимать ее такой, какова она есть. Но такая она мне была не нужна. Близился мой отъезд, а от нее не было ни слуху ни духу. Ругая себя последними словами, я набрал номер ее телефона. Мне ответил незнакомый басок. Ну, это само собой. И все-таки я попросил позвать ее.

– Она шас здесь не живет, – сказал грубоватый басок. – Тут ее грабанули... Через окно... Разбили и...

– Где она? – спросил я.

Басок назвал номер телефона.

Около полуночи я позвонил, и она подняла трубку.

– Что произошло? – спросил я.

– Меня обокрали, – сказала Улитка. Голос у нее был спокойный, но неживой. – Разбили окно, залезли в мастерскую и все вынесли, всю мою коллекцию, вазы, серебро, все – магнитофон, куртку, даже две бабушкины чернобурки.

– Магнитофон Бадри?

– Он уже давно стал моим. Бадри его отдал в погашение долга. Я его хотела продать, я себе новый тут купила. Все унесли. На пианино у меня было восемьсот рублей, мне только что их вернули. Тоже унесли.

– Ты заявила в милицию?

– Да. Они с собакой приходили. Что милиция... Я теперь и так знаю, кто украл.

– Кто?

– А... два мужика, фарцовщика. Лилька их приводила, когда меня не было. Потом они поехали ее провожать, она в Жданов улетала, домой, ну и потом вернулись. Ты же знаешь, там по трубе нетрудно залезть... Разбили стекло... А вышли в дверь. Они знали, что меня нет, Лилька, глупая, им сказала. Теперь она боится, что я ее прогоню.

– Ну и что дальше?

– Что дальше... Ничего. Мы с Лилькой увидели их на Невском возле Гостиного, где вся их мафия собирается. Так они на нас: «Что такое?! Первый раз видим! Катитесь, пока живы!» Пригрозили нас убить, если что... Это же мафия... Что ты молчишь?

– Я не молчу. Почему ты мне не позвонила?

– Не хотела.

– А что твои спортсмены, Бадри? Надо было с ними идти к Гостиному...

– Ты же знаешь, что я никого не ввязываю в свои дела. Я никогда никого ни о чем не прошу...

– А что с Лилькой? Ты прогнала ее?

– Зачем? Она же не виновата. Просто глупая, доверчивая... Без меня она пропадет.

– Там какой-то человек мне ответил.

– Да, это один мой знакомый... Я больше не могу там жить, я сняла другую квартиру. А там, там все поругано, уничтожено, растоптано... Там был мой мир, моя коллекция. Они сложили все в мои сумки и унесли. Что они понимают в модерне, для них это только деньги...

– А твои картины?

– Картины остались. Мои картины и мой буфет... Теперь он мне тоже не нужен, он один... Я посчитала, на сколько меня наказали. Примерно на десять тысяч. А мне сейчас как раз нужны деньги, много денег...

– Зачем?

– Я решила уехать. Я больше не хочу жить в этой поганой совдепии. Здесь меня оскорбили, растоптали то, что мне было дорого... Если бы ты помог мне уехать. У тебя же есть родственники за границей. Мне нужен фиктивный брак. Иностранцы берут за это десять тысяч...

Я съездил в Москву, чтобы получить визы государств, которые предстояло пересечь, только испанская виза задерживалась – ее мне обещали поставить в день отъезда. Во французском посольстве девушки, сносно говорящие по-русски, прибавили мне к трем положенным на Париж дням еще два, и я принес им лучшие цветы, какие только нашел в Москве. Оставалось проститься

с Улиткой, но я перестал понимать свою роль в ее жизни. Чтобы ей позвонить, я теперь каждый раз преодолевал чудовищный барьер. Мое место было занято, она давно уже была с другими, но мне все казалось, что о чем-то главном мы так и не поговорили. Я все ждал, что она позвонит и скажет: «Знаешь, Игнат, я все поняла. Я поняла, что ты мой главный и единственный. Я хочу к тебе. Я хочу с тобой...» И я бы отложил поездку. Я бы вообще не поехал. Нет, мы бы поженились, а через пару месяцев поехали бы вместе. Ведь шел август, а разрешение на выезд у меня было до января.

И она позвонила.

– Мне нужно с тобой встретиться, – сказала она. – Ты можешь принести мою картину?

– Зачем? – спросил я.

– Дело в том, что приехал один человек... ОТТУДА... Он покупает мои работы и хочет посмотреть эту картину. Только это срочно. Он завтра уезжает.

– Что он купил?

– «Чаепитие» и еще несколько акварелей. Они там будут висеть в его собственной галерее.

– Где?

– В Риме.

Договорились встретиться в Екатерининском садике.

К назначенному времени я снял со стены ее картину, обернул бумагой, заклеил липкой лентой. В том, что рано или поздно Улитку откроют, я не сомневался, и все-таки это случилось раньше, чем я полагал. Полгода я приучал себя различать Улиткины фантазии и собственно Улиткину жизнь, а теперь она доказывала мне, что это одно и то же. Надев туфли, я посмотрел в зеркало на свое старое лицо. Хорошо, что утром вымыл голову – все-таки вид посвежее. Я вышел, захлопнул дверь и только в лифте сообразил, что картина осталась дома. Возвращаться было нехорошо. Нехорошая примета. Вся моя история с Улиткой была полна примет и символов. Ничего, решил я, мы встретимся и заедем ко мне. Она потеряет полчаса, не больше. Может, даже погуляем по городу, как когда-то... Я спустился в метро, сел в вагон. Поезд тронулся, ворвался в темный гремющий тоннель, и тут вдруг мне стало трудно дышать. Ненависть поднялась в моей груди, ударила в голову, ослепила... Кто мог у нее купить картины? Какая там личная галерея? Ей просто платят за постель, за удовольствие. А она верит, она принимает эту игру за чистую монету. То есть, конечно же, не верит, но хочет, чтобы выглядело именно так... Какой там музей, какие выставки... Это не ее идея, это ей подсказали, это ее дошлый дружок из фирмачей. Она хочет уехать, она взялась за дело! В один миг я возненавидел ее. Теперь она собиралась продать то, что подарено мне, что было нашим общим прошлым.

Я был черен, когда подходил к Екатерининскому садiku, хотя, увидев Улитку, постарался улыбнуться. Она была с телохранительницей Лилькой, одетой с ног до головы в дорогую кожу. Не те ли домущники отслюнили ей ее долю...

– Ты не принес? – сказала Улитка и помрачнела. Впрочем, она помрачнела еще раньше, еще до моей улыбки. Она знала меня.

– Не успел, – сказал я, продолжая через силу, еще более фальшиво улыбаться. – Я не из дома. Мы можем сейчас съездить...

Улитка пристально глянула на меня, жестко и незнакомо усмехнулась и сказала с торжеством, будто наказывала:

– Все! Я уезжаю из этой сраной страны, где одни подонки!

– Когда? – невпопад спросил я.

– Скоро! Оставайтесь в своем совке, копошитесь в дерьме!

– Что-то ты не то говоришь... – сказал я.

– То! Как раз то, что нужно. Тут не ценят красоту, тут искусство никому не нужно!

– А там ценят?

– Там ценят, а тут грабят. Я любила модерн, я любила его собирать... А мне плюнули в душу. Я этого не прощу!

– Там тебя тоже ограбят, – сказал я. – Красоту везде грабят.

Улитка зло хохотнула. Где-то я уже слышал этот хохоток.

– Ну ладно. Поехали. Мне нужна моя картина, – она обернулась и кивком позвала за собой Лильку.

– Теперь я тебе ее не отдам, – сказал я. Нижняя челюсть у меня двигалась плохо.

– Что-что? – протянула она, упирая руки в боки.

– Я не хочу тебе ее отдавать, – тихо, отдельно выговорил я. Сказать громче у меня просто не было сил.

– Как это так? – сказала Улитка. – Она моя. Я дала тебе ее на время, а теперь забираю. Ей плохо у тебя, она мучается. Ей не нравится твоя темная квартира.

– Я ее перевесил, – сказал я. – Теперь ей хорошо...

– Что? Может, тебе деньги дать за нее? Сколько ты хочешь за мою картину? У меня есть деньги, у меня теперь много денег.

– Ты мне ее подарила, – сказал я. – Там написано, что это подарок. Там написано: «Тебе от меня». Сколько стоит «тебе от меня»?

– Нарисуй ему копию, – подала сбоку голос Лилька. Голос был наглый.

– Лилька, отойди! – прикрикнула на нее Улитка незнакомым мне железным тоном.

– Ты уж прости, – сказал я, – но эта картина мне дорога. Она про нас. Она принадлежит нашему прошлому. Ты написала ее при мне, на моих глазах.

– Это моя вещь, – сказала она. – Ты ко мне плохо относишься, значит, и к ней плохо. Я у тебя ее забираю.

– Я к тебе хорошо отношусь, – сказал я.

– Что ты с ним разговариваешь? – услышал я Лилькин голос.

– Лилька, отойди! – топнула Улитка.

– Я к тебе хорошо отношусь и потому картину не отдам, – сказал я.

– Так ты не отдашь?

Закусив губу, я покачал головой.

Улитка вся передернулась и, оскалившись, выставив челюсть, сказала:

– Пошел вон, козел!

И нас отбросило в разные стороны.

Через какое-то время я осознал, что иду по Невскому в направлении к Адмиралтейству. Его золотой кораблик летел на юг...

Я думал, что она позвонит и извинится. Но Улитка не позвонила. Через три дня я уехал.

1989